

АЛЬБЕР КАМЮ

МИФ О СИЗИФЕ

(Очерки о бессмысленности)

О, душа моя, не надейся  
на вечную жизнь, лучше  
исчерпай возможное

Иницдар

Предлагаемые страницы посвящены бессмысленности как мироощущению, а не философии бессмысленности, которой наше время по существу не знает. Простая честность обязывает меня прежде всего отметить, что они навеяны некоторыми современными мыслителями. Я не скрываю этого и даже цитирую их по ходу работы.

Важно только сказать, что до сих пор бессмысленность была окончательным выводом, здесь же она рассматривается как отправная точка. Это придало моему комментарию некоторую злободневность, не вычитать из него намеренную позицию невозможно. Читатель найдет здесь только описание одной болезни духа в ее чистом виде. К нему не подмешано никакой философии, никаких предубеждений — таковы границы и таково единственное намерение этой книги.

#### ЛОГИКА БЕССМЫСЛЕННОСТИ. БЕССМЫСЛЕННОСТЬ И САМОУБИЙСТВО

Есть лишь одна серьезная философская проблема: самоубийство. Выяснить, стоит или не стоит труда жить, значит ответить на основной вопрос философии. Остальное — трехмерно ли пространство, девять или двенадцать категорий мышления — проходят потом. Это все игрушки, сначала надо ответить. И если прав Ницше, считающий, что философ, желающий добиться уважения, должен показывать личный пример, то становится ясным, насколько важен этот ответ, предопределяющий поступок. Все это истины, понятные сердцу, но их нужно углубить, чтобы сделать ясными и для ума.

Когда я задумываюсь над тем, какой вопрос важнее, я прихожу к выводу, что это зависит от действия, к которому он ведет. Я не помню, чтобы кто-нибудь умер во имя научной идеи. Галилей, считавший научную истину важной, отказался от нее с необыкновенной легкостью, как только она поставила его жизнь под угрозу. Эта истина не стоила того, чтобы класть голову

на плачу.

Совсем не важно, что вокруг чего вращается: земля или солнце. В конечном счете, это второстепенный вопрос. Но зато я вижу, что многие люди умирают, считая, что жить не стоит труда. Вижу я и других, которые немало позволяют убить себя за идею или иллюзию, давшие смысл их жизни (то, что называют смыслом жизни, оказывается прекрасным "смыслом смерти"). Итак, я заключаю, смысл жизни — самый важный вопрос. Как на него ответить? Сквозь все мировые проблемы я вижу теперь и такие, которые удесятерят страсть к жизни, и здесь, возможно, существуют лишь два способа мыслить: Ла Палисса и Дон Кихота. Только равновесие между ясностью сознания и лиризмом — может привести нас к восприятию, одновременно осознанному и волнующему. Так что в нашем предмете, одновременно таком интимном и столь патетическом, ученая классическая диалектика должна уступить место более скромному проявлению духа в здравом смысле, основанном на симпатии.

Самоубийство всегда рассматривали как социальное явление. Здесь же, напротив, прежде всего рассматривается вопрос о соотношении самоубийства с индивидуальной мыслью. Подобные действия созревают в глубине души так же, как великие творения. Человек и сам не ведает об этом. Но вдруг он стреляет или прыгает в воду. Однажды мне рассказывали об управляющем домами, который за пять лет до самоубийства потерял дочь; он очень изменился за эти годы, его событие его "подточило". Невозможно подобрать лучшее слово. Начать думать — это значит "подтачиваться". В начале общество играет не бог весть какую роль. Червь грездится в сердце человека. Там и нужно его искать. Нужно исследовать и понять эту смертельную игру, ведущую от ясности мировосприятия к бегству во мрак.

Существуют многие причины самоубийства и, как правило, наиболее явные не бывают наиболее достоверными. Редко кончат собой по размышлении (хотя это и не исключено). То, что приводит к кризису, почти всегда недоступно сознанию. Газеты часто сообщают о "личном горе" и "немалочимой болезни". Эти объяснения не лишены оснований. Но надо было бы узнать, не разговаривал ли с отчаявшимся равнодушно в этот день его друг. Если так — он виноват. Потому что этого достаточно, чтобы освободить страдание и усталость души, бывшие до сих

Пользуюсь случаем, чтобы подчеркнуть относительный характер этого процесса. Самоубийство в действительности может быть связано с более серьезными соображениями. Например, политические самоубийства, продиктованные протестом, во время китайской революции. Но если трудно уловить точный момент, тончайшее движение, в котором разум избрал смерть, легче извлечь из самого поступка предполагаемые следствия. Убить себя означает, как в мелодраме, некое признание. Признание того, что человека пережала жизнь или что он ее не понимает. Не будем забегать далеко в эти аналогии и вернемся к обиходному языку. Это признание того, что жизнь "не стоит труда".

Конечно, жить всегда трудно. Человек продолжает совершать однообразные действия по множеству причин, первая из которых привычка. Добровольная смерть предполагает, что человек признал, пусть даже инстинктивно, ничтожный характер этой привычки, отсутствие серьезных оснований для продолжения жизни, бессмысленность повседневной суеты и бесполезность страдания.

Что же это за непреодолимое чувство, лишавшее разум покой, необходимого для его жизни? Мир, который можно объяснить, хотя бы дурными средствами — это еще человеческий мир. Но во вселенной, внезапно утратившей иллюзии и огни, человек чувствует себя иностранцем. Это отчуждение бессрочно, потому что человек лишен воспоминаний об утраченной родине или надежды на землю обетованную. Этот разлад между человеком и его жизнью, актером и декорацией и есть чувство бессмысленности в чистом виде. Если здоровый человек подумает о собственном самоубийстве, он легко убедится без дальнейших разъяснений, что между этим чувством и стремлением к небытию существует прямая связь.

Предмет этого очерка и есть соотношение между бессмысленностью и самоубийством, точная мера, в котором самоубийство есть разрешение бессмысленности. Нужно исходить из того, что для человека, который не врет, то, что он считает истинным, должно определять его поступки. Вера в бессмысленность существования должна, таким образом, определять поведение. Будет законным любопытством ясно и без ложной многозначительности осведомиться, требует ли вывод такого рода, чтобы человек как можно скорее покинул не поддающиеся осмыслению обстоятельства. Я говорю, конечно, о тех, кто хочет восстановить согласие с собой. Будучи изложенной ясными словами, эта проблема может



оказаться одновременно простой и неразрешимой. Напрасно полагают, что простые вопросы вызывают не менее простые ответы и что очевидность подразумевает очевидность. Априорно, если рассматривать проблему в обратном порядке, и в том случае, когда самоубийца верует в смысл жизни, как будто бы есть лишь два философских решения: да или нет. Это было бы слишком хорошо. Но нужно встать на сторону тех, кто, не делая выводов, постоянно задает вопросы. И это не преувеличение: таково большинство. Я вижу, что те, кто говорит "нет", действуют, как если бы они сказали "да". В действительности, если пользоваться критерием Ницше, они так или иначе думают "да". Напротив, те, кто кончает с собой, часто уверены в осмысленности жизни. Такие противоречия встречаются сплошь и рядом. Можно даже сказать, что они остры как раз там, где последовательность кажется столь очевидной. Общепринято сравнивать философские теории и поведение тех, кто их создает. Но нужно сказать, что среди мыслителей, отвергающих смысл жизни, никто, кроме Кириллова из литературы, Перегринуса, созданного легендой, и Жюль Лензе, по гипотезе о нем, не применил свою логику вплоть до отказа от жизни. Часто упоминают насмешки над Шопенгауэром, занимавшегося воссозданием самоубийства перед уставленным спицей столом. Однако в этом нет повода для шуток. Сама манера не принимать трагическое всерьез не такой уж великий грех, но кончается это для насмешника плачевно.

Нужно ли отказаться перед этими противоречиями и темными местами от попытки установить отношения между взглядами на жизнь и поступком, направленным к смерти? Не будем здесь ничего преувеличивать. В привязанности человека к жизни есть нечто более сильное, чем все несчастья мира. Мнение тела стоит не меньше, чем мнение ума, и тело сопротивляется убеждению. Мы привыкаем жить до того, как привыкаем думать. В пути, продвигающем нас с каждым днем к смерти, тело сохраняет этот аванс нетронутым. В конечном счете существо противоречия кроется в том, что я называю "уклонением", потому что это сразу и больше и меньше, чем "развлечение" в паскалевой терминологии. Смертельное уклонение (уход), составлявшее третью тему этого очерка, — надежда. Надежда на другую жизнь, которую нужно "заслужить", или плутовство тех, кто живет ради самой жизни, а не за какую-нибудь великую идею, которая возникает над ней, венчает ее, дает ей смысл и предает

ее.

Так все клонится к тому, чтобы сменить карты. Вовсе не зря до сих пор играли в слезы и делали вид, будто считают, что между отказом жизни в смысле и выводом, что "жить не стоит труда", связь искусственна. В действительности никакой насильственной связи между этими суждениями нет. Нужно только отказаться от подстановок понятий и непоследовательностей, отмеченных до сих пор. Нужно отбросить всё и идти прямо к настоящей проблеме. Люди кончают с собой, так как жизнь не стоит труда быть прожитой — вот, безусловно, истина — однако, бесплодная, так как это общее место. Но верно ли, что это порождение существования, это опровержение жизни следует из того, что она совершенно бессмысленна? Неужели ее бессмысленность требует, чтобы от нее спасались в самоубийстве или в надежде? — вот что следует выяснить, проследить и проиллюстрировать, отбросив остальное. Предопределяет ли бессмысленность смерть? — эту проблему нужно выделить среди других безо всяких методов мышления и коледной игры улам. Все нюансы, все противоречия, психология, которую "объективный" разум имеет вносить во все проблемы, не имеет место в этом исследовании, как и в этой страсти. Здесь только требуется несправедливая мысль, так как мысль ~~логичная~~ логичная. Это нелепо. Быть логичным просто. Почти невозможно быть логичным до конца. Люди, погибающие от собственной руки, идут до конца в своем чувстве. Размышление о самоубийстве дает мне поэтому повод поставить единственную интересующую меня проблему: существует ли логика, приводимая к самой смерти? Я могу это узнать, только продолжая размышление, происхождение которого я здесь указываю, минуя беспорядочную страсть и придерживаясь только света очевидности. Вот что я называю бессмысленным размышлением. Многие начинали его. Не знаю еще, проследено ли оно до конца. Когда Карл Ясперс, обнаружив невозможность воссоздать мир в единстве, восклицает: "Это ограничение приводит меня к самому себе, туда, где невозможно спрятаться за объективную точку зрения, которую я могу только представить себе, туда, где ни я сам, ни существование другого не могут более быть для меня объектом", он открывает после многих других эти вустынные и бесплодные места, где мысль добирается до своих пределов. Да, конечно, после мно-

гих других, но как он торопится выбраться отсюда! Множество людей достигали этого последнего поворота, где мысль начинает мигать, и среди них — самые бедные духом. Они отвергали здесь самое дорогое — свою жизнь. Другие — властители дум, тоже отрицали, но в своем чистейшем порыве они приходили к самоубийству своего мышления. Наша попытка сводится к тому, чтобы продержаться до конца, если это возможно, и наблюдать с ближайшего расстояния причудливую форму этих далеких краев. Выдержка и пронзительность — это два привилегированных зрителя безжалостной игры, где бессмысленность, надежда и смерть обмениваются своими репликами. Тогда разум может исследовать фигуры этого танца, такого простого и вместе с тем столь неуловимого, прежде иллюстрировать их и пережить самому.

### СТЕНЫ БЕССМЫСЛЕННОСТИ

Как великие творения, глубокие чувства всегда значат больше, чем могут сказать о себе. Постоянство движения или отталкивания в душе обнаруживается в привычках делать или думать, продолжается в последствиях, о которых душа и не знает. Большие чувства несут с собой свои миры, блистательные или жалкие. Они озаряют своей страстью необычный мир там, где находят свою атмосферу. Существуют миры зависти, претензии, эгоизма, или великодушия. Мир здесь — философия и созвоние ума. То, что верно для уже осознанных чувств, будет еще вернее для чувств, неопределенных в своем основании, одновременно неясных и "достоверных", далеких и "реальных", врожденных тех, которые вызывают в нас благодать или выуживают бессмысленность.

Чувство бессмысленности может поразить любого человека в любом повороте улицы. Само по себе в своей отчаявающей безнадежности, в своем свете без лучей, оно неуловимо. Но сама эта трудность заслуживает внимания. Возможно, это верно, что человек всегда остается незнакомым и что в нем всегда есть что-то неподдающееся упрощению и ускользающее от нас. Но практически я знаю людей и узнаю их не из поведения, в совокупности их поступков, в следствиях, которые создает их пребывание в жизни. Точно также я могу практически определять все и иррациональные чувства, неподдающиеся анализу, практичес-



ки оценить их, собрать сумму их последствий для разума, схватить и обозначить их миры. Это верно, что если я сто раз увижу одного актера, я не узнаю его лучше, чем он сам себя. Однако если я соберу всех его героев и скажу, что я узнаю его лучше после своей роли, ясно, что здесь будет частичка истины. Этот кажущийся парадокс только подтверждает мысль. Существует некая мораль. Она учит, что человек так из хорошо выражает себя в своей игре, как и в искренних порывах. Есть такие чувства тоном познания, в сердце они неприступны, но их отчасти выдают вызванные ими поступки и определяемые ими состояния ума. Теперь видно, каким образом я определяю метод. Видно также, что — это аналитический метод, а не метод познания. Методы включают рассуждения, они приводят в истоке выводы, которых они будто бы не знают, подобно тому, как в первых страницах книги содержатся последние. Этот узел неизбежен. Здесь определенный метод означает лишь то, что настоящее знание невозможно. Увеличивается число возможностей, да становится олутивей атмосфера.

Может быть, нам удастся настичгнуть это неуловимое чувство бессмысленности в различных, но братских мирах — в размышлении, в искусстве как таковом. Атмосфера бессмысленности только зарождалась. В конце ее — бессмысленная вселенная и то состояние ума, что освещает мир своим светом, чтобы озарить избранное неумолимое лицо, которое оно способно в нем видеть.

Все значительные поступки, все большие мысли вызваны незначительными поводами. Большие произведения часто рождаются на углу улицы или в фойе ресторана. Бессмысленность тоже. Бессмысленный мир больше, чем какой-либо другой, обязан своим расцветом случайному рождению. В некоторых положениях ответить: "ни с чем" — на вопрос, о чем он думает, означает для человека притворство. Любимые существа знают это хорошо. Но если этот ответ искренен, если он отвечает этому особенному состоянию души, где пустота становится красноречивой, где цепь повседневных жестов порвана, где сердце тлетно ищет, чем ему укрыться, такой ответ — как бы первый признак бессмысленности.

Случается, что декорации рунатся. Пробуждение, трамвай, четыре часа службы или труда, обед, трамвай, четыре часа ра-



боты, ужин, сон — и понедельник вторник среда четверг пятница суббота в одном ритме — такой путь легко продолжать большую часть жизни. Но однажды возникает вопрос "почему" и всё начинается с этой усталости, окрашенной удивлением. "Начинается" — это здесь важно. Усталость приходит в итоге однообразных поступков машинальной жизни, но она в то же время кладет начало движению сознания. Она будит его и вызывает продолжение. Продолжение означает бессознательный возврат в старые оковы или же окончательное пробуждение. В итоге пробуждения приводят к следствию: самоубийству или восстановлению. Усталость несет в себе нечто отвратительное. Здесь не я должен заключить, что она прекрасна. Ведь все начинается в сознании и проходит через него. В этих заметках нет ничего нового. Однако они очевидны: этого пока недостаточно для общего наблюдения над истоками бессмысленности. В основе всего — простая "забота". Точно также нас каждый день спокойно несет время. Но рано или поздно наступает миг, когда нужно его нести самому. Мы полагаемся на будущее: "завтра", "потом", "когда у тебя будет положение", "вырастешь — узнаешь". Эти непоследовательности восхитительны — ведь затем предстоит умереть. Однако приходит день, когда человек понимает или говорит себе, что ему тридцать лет. Он утверждает этим, что он молод. Но в тот же миг он определяет себя во времени. Он занимает в нем свое место. Он признает, что находится на некоем отрезке кривой, которую он должен пробежать. Он принадлежит времени и считает укаса, охватывающий его, своим худшим врагом. Он-то рассчитывал на будущее, когда он сам должен был от этого отказаться. Это возмущение плоти и есть бессмысленность.<sup>1/</sup> Ступенью ниже можно наблюдать отчуждение: замечаешь, что мир стал в тягость, видишь, насколько может быть чужим камень, насколько он лишний, и с какой силой может отрицать нас пейзаж и сама природа. В глубине любой красоты кроется нечто бесчеловечное, и эти холмы, покой неба, рисунок деревьев вдруг теряют иллю-

---

<sup>1/</sup> Но не в собственном смысле. Здесь не определение, а перечисление чувств, могущих содержать бессмысленность. Закончив перечисление, мы не исчерпаем бессмысленность.

зорный смысл, которым мы их наделяем, становясь от них отделенными более, чем потерянный рай. Первообитная враждебность мира подбирается к нам сквозь тысячелетия. Мы на миг перестаем его понимать, потому что на протяжении веков мы поняли в нем только те образы и очертания, которыми прежде наделили его, а теперь у нас не хватает сил, чтобы пользоваться этими искусственными нашивками. Мир ускользает от нас, потому что становится самим собой. Декорации, измененные привычкой, становятся тем, что они есть. Они удаляются от нас. Или же бывают дни, когда в привычном лице женщины вы открываете как чужую ту, которую вы любили несколько месяцев или несколько лет назад, и вы вдруг пожелаете того, что сделает вас внезапно такими одинокими. Но время еще не пришло. Только одно: эта тягость и эта отчужденность мира — это бессмысленность.

Души тоже распространяют бесчеловечное. В некоторые часы ясного зрения их механические жесты, их бессмысленная мимика делает глупым все, что их окружает. Человек говорит по телефону за стеклянной дверцей; его пустая мимика заставляет невольно подумать: зачем он живет? Это заболевание от бесчеловечности самого человека, это непредвиденное падение перед образом того, что мы есть, эта "тошнота", как называет ее один современный автор, — это тоже бессмысленность. И то чужое лицо, которое мы видим иногда, смотрясь в зеркало, знакомый и все же беспокоящий брат, которого мы видим на наших собственных фотографиях, — и это тоже бессмысленность. Я подошел к смерти и к чувству, которое она в нас вымывает. Об этом уже все сказано и будет уместно избежать патетики. Однако не перестаешь удивляться тому, что все живут так, словно об этом "неи ведают". Конечно, в действительности нет опыта смерти. Собственно говоря, опыт включает в себя то, что прожито и осознано. Здесь разве что возможно говорить об опыте смерти других. Это суррогат, умозрение и мы никогда не поверим этому полностью. Это грустное согласие не может быть убедительным. Реальный ужас приходит с геометрической стороны события. Время пугает нас потому, что оно обнаруживается, а за ним следует решение. Все прекрасные слова о душе получают здесь, хотя бы временно, девять возражений против одного. Душа исчезла из этого инертного тела, пощечина не достигла бы здесь своей цели. Это окончательное и элементарное состояние образует содержание чувства бессмысленности. Бесплезность возникает в смертельном

освещении подобной судьбы. Никакая мораль, никакое усилие не может быть достоверным перед кровавой геометрией, определяющей наше существование.

Повторяю, все это было сказано тысячу раз. Я ограничиваюсь тем, что даю короткое перечисление и указываю на эти общеизвестные темы. Они проходят через все литературы и все философии. Повседневные разговоры полны ими. Нет нужды изобретать велосипед. Не нужно удостовериться в этих очевидностях, чтобы иметь возможность задаться первостепенным вопросом. Хочу еще раз повторить: меня интересуют не столько открытия бессмысленности сами по себе, а их последствия. Если все эти факты признаны достоверными, то нужно заключить, каким путем идти, чтобы ничего не упустить? Нужно ли умереть по своей воле или же надеяться вопреки всему? Сначала необходимо провести подобную же операцию в сфере мышления.

х х х

Первое движение разума сводится к тому, чтобы отличить истинное от ложного. Однако стоит лишь мысли задуматься над собой, она прежде всего обнаруживает противоречие. Здесь просто бесполезны попытки примирения. Во все времена яснее и изящнее всего эту проблему изложил Аристотель.<sup>I/</sup> "Последствие этих мнений часто бывает смешным оттого, что они сами себя разрушают. Утверждая, что все истинно, мы утверждаем истинность противоположного утверждения и следовательно, ложность нашего собственного суждения (противоположное утверждение исключает его истинность). А если утверждать, что все ложно, это утверждение тоже оказывается ложным. Если же объявить, что ложно только суждение, противоположаемое нашему, или же, что только наше суждение не ложно, нам приходится признать бесконечное число истинных или ложных суждений. Поэтому что тот, кто произносит истинное суждение, одновременно говорит, что оно истинно и так вынужден продолжать до бесконечности".

Это только первый порочный круг из серии, в которой разум, обращаясь на себя самого, теряется в головокружитель-

I/ Перевод цитаты по французскому тексту.



ном вихре. Сама простота этих парадоксов создает их неизбежность. Каковы бы ни были словесные ухищрения и логические трюки, понять — означает прежде всего соединить. Глубочайшее стремление разума даже в самых развитых его проявлениях соединяется с бессознательным чувством человека перед его вселенной: это требование узнаваемости, потребность в свете. Для человека понять мир значит очеловечить его, коснуться его своей кистью. Мир кошки не такой же, как мир муравейника. Тризм "всякая мысль антропоморфна" имеет только этот смысл. Так же разум, стремящийся к осознанию реальности, не может считать себя удовлетворенным, если он сведет ее к умозрительным формулам. Если бы человек признал, что его вселенная тоже может любить и страдать, он успокоился бы на этом. Если бы мысль открывала в меняющихся зеркалах явлений вечные отношения, которые могли бы ее выразить и выразиться сами в едином принципе, можно было бы говорить о духовной счастливости, для которого мир благополучия был бы лишь смехливым суррогатом. Эта тоска по единству, это стремление к абсолютному показывает основное движение человеческой трагедии. Но то, что эта тоска — факт, не означает, что она должна быть немедленно утолена. Ибо если мы перепрыгнем бездну, отделяющую желание от осуществления, мы утвердим вместе с Парменидом реальность Единосущего (каким бы оно не было) и впадем в глупое противоречие разума, который утверждает полное единство и доказывает самим этим утверждением свое различие и многозначность, которую он намеревался разрешить. Этот второй порочный круг способен удушить наши надежды. Это все тоже очевидности. Я могу только повторить, что они не интересны сами по себе, интересны последствия, которые можно из них извлечь. Я знаю еще одну очевидность: человек смертен: и все же можно найти немало умов, которые сделали из этого крайние выводы. В этом очерке, возможно, придется всякий раз ссылаться на постоянное расхождение между тем, что мы знаем действительно, и тем, что нам кажется известным, между практическим примирением и притворным неведением, благодаря которому мы живем с такими идеями, которые должны были бы перевернуть всю нашу жизнь, если бы мы следовали им. Пред этим жестоким противоречием разума мы во всей глубине ощущаем разлад между собой и нашими творениями. Поскольку разум



умолкает в неподвижном мире своих надежд, все отражается и формируется в единстве его тоски. Но при первом же движении этот мир трескается и рушится: бесчисленное множество блеклых осколков — вот что остается познанию. Нучко отказаться навсегда от надежды собрать из них знакомую и тихую поверхность, которая бы успокоила наше сердце. После стольких веков поисков, после стольких расхождений во взглядах среди мыслителей, мы хорошо знаем, что это верно для всего нашего познания. Если бы надо было написать единственную значимую историю человеческой мысли, нулино было бы написать историю ее успешных раскаяний и ее безуспешных претензий.

О ком и о чем я могу сказать: "Я это знаю!" Вот сердце в себе я чувствую и знаю, что оно существует. Тут останавливается вся моя наука: остальное — построения. Если я попытаюсь определить и сформулировать это "я", в существовании которого я уверен, оно ускользнет между пальцами, как вода. Я могу представить по очереди все образы, которые оно принимает, а также те, которыми его наделили, его формирование, его происхождение, покой и нилкость, величие или низость. Но эти образы невозможно сложить. Само же мое сердце останется для меня неопределимым. Ничем невозможно заполнить ров между достоверностью моего существования и обоснованием, которое я пытаюсь дать этой моей уверенности. Я навсегда остаюсь чужим самому себе. В психологии, как и логике, есть истины, но истины в них нет. "Познай самого себя" Сократа имеет такую же цену, как "добродетельное я" наших церковников. Они обнаруживают тоску вместе с изведением. Это бесплодные игры в крупные томы. Они имеют право на существование лишь как приближения.

Существуют деревья, и я знаю их шероховатость, вода — и знаю ее вкус. Благоухание трав и звезд, ночь, вечера, когда сердце вдруг чувствует свободу, — как могу я отрицать этот мир, могущество и силу которого я ощущаю? Однако вся наука этой земли не даст мне ничего способного уверить меня, что этот мир — мой. Вы опините мне его, вы научите меня классифицировать. Вы перечислите его законы и я в моей каждой познания слышусь, что они истинны. Вы раскроете его механизм и моя надежда возрастет. В конце концов вы научите меня, что эта бесная и многоцветная вселенная сводится к этому и что сам

атом сводится к электрону. Все это хорошо, я жду продолжения. Но вы заговорите о невидимой планетарной системе, где электроны вращаются вокруг мира. Вы объясните мне этот мир через образ. В ответ я скажу, что вы ударились в поэзию: и я никогда не познаю мир. Я не успел возмутиться всем этим: вы уже изменили теорию. Итак, эта наука, которая должна была всему меня научить, кончается гипотезой, ее ясность растворяется в метафоре, ее недостоверность разрешается в произведении искусства. Зачем не столько усилий? Покойные линии холмов и ладонь вечера на встревоженном сердце дают мне куда больше знаний о мире. Я вернулся к своему началу. Я понимаю, что если наука может охватить явления и перечислить их, я все же не могу получить таким образом знание о мире. Если бы даже я провел пальцем по всей его поверхности, я не познал бы это более. И вы предлагаете мне выбор между достоверным описанием, которое не помогает мне знать, и гипотезами, которые хотят научить меня, не будучи достоверными. Чуждый себе самому и этому миру, вооруженный на все случаи жизни мыслью, которая сама себя отрицает, как только встает на путь утверждения, в каких я нахожусь условиях, если могу обрести мир, только отказавшись от знания и от жизни, а стремление овладеть миром наталкивается на стены, которые сопротивляются этому натиску? Желать означает порождать парадоксы. Все устроено так, чтобы позволять родиться этому отравленному покою, дающему беззаботность, сон сердца или же смертельное самоотречение.

Так, разум говорит мне по-своему, что этот мир бессмыслен. Не согласные с этим, слепо настаивающие на том, что все ясно, должны были бы это доказать, и я очень желал бы, чтобы они были правы. Но несмотря на столько претенциозных столетий, на такое количество красноречивых и убежденных людей, я знаю, что это ложь. По крайней мере, в этом смысле счастье возможно, так как я не могу мир познать. Этот мировой разум, фактический или нравственный, этот детерминизм, эти категории, которые все объясняют, лишь способны вызвать смех у восточного человека. Они не имеют ничего общего с умом. Они отрицают свою глубокую правду — быть скованным. В этом непопавшем и ограниченном мире отныне получает свой смысл судьба человека. Целое племя иррационалистов готово защищать

этот смысл до конца. В своей возвращенной пронизательности, удостоверенной теперь, чувство бессмысленности обвешается и уточняется. Я говорил, что мир бессмыслен, и я поторопился. Этот мир сам по себе неразумен — вот все, что можно о нем сказать. Бессмысленно восстание иррационального и это отчаянное стремление к свету, призыв к которому глубже всего проникает в сердце человека. Бессмысленность зависит в равной мере от человека и от мира. Сегодня она составляет единственную связь между ними. Бессмысленность связывает их между собой, как может соединять людей ненависть. Вот все, что я могу ясно очертить в этом мире, не зная мер, где продолжается моя жизнь. Остановимся на этом. Если я принимаю за истину эту бессмысленность, определяющую мои отношения с жизнью, если я проникаюсь этим чувством, охватывающим меня перед зрелищем мира, я полагаюсь на пронизательность, обязующую меня к поискам истины, я должен посвятить себя всем этим достоверностям и должен прямо смотреть на них, чтобы их смысл поддержать. Главное, я должен ими определять мое поведение и следовать им во всех их последствиях. Я говорю здесь о честности. Но прежде я должен узнать, может ли возникнуть мысль в этих условиях.

х х х

Я уже знаю, что мысль, по крайней мере, вступила туда. Она нашла там свою пещу и поняла, что до сих пор питалась призраками. Она дала повод нескольким наиболее важным темам человеческого размышления.

С того момента, как бессмысленность признана, она становится страстью, наиболее душераздирающей из всех. Вопрос в том, можно ли жить с этими страстями, можно ли принять их скрытую закономерность, обязующую стеречь возбужденное ими сердце. Но и это не главный вопрос, его мы еще поставим. Он находится в центре этого опыта. К нему нужно будет вернуться. Пока же исследуем темы и порывы, порожденные пустыней. Достаточно будет перечислить их. Они ведь сегодня известны всем. Всегда находились люди, заглававшие иррациональное. Традиция так называемого униженного мышления всегда оставалась живой. Критика иррационализма была проделана столько раз, что кажет-



ся, этим уже не стоит заниматься. Однако наша эпоха возрождает эти парадоксальные системы, ухитряющиеся находить в разуме новые изъясны, как будто он и в самом деле продолжает двигаться вперед. Но это доказывает не столько живость самого разума, сколько живость его надежд. С исторической точки зрения это постоянство обеих тенденций показывает основную страсть человека, раздражаемого стремлением к цельности и ясным осознанием стен, которые его окружают.

Но, может быть, никогда наступление на разум не было столь активным, как теперь. С момента воли Заратустры: "Впрочем, это старейшая доблесть в мире. Я наделил ею все вещи, когда сказал, что над ними не властвует никакая вечная воля", с момента смертельной болезни Кьеркегора "страдания, завершаемого смертью, за которой ничего нет", мучительные характерные темы бессмысленного мышления сменяли одна другую. Во всяком случае, — и это самое главное — в иррациональной и религиозной философии — от Ясперса до Хайдеггера, от Кьеркегора до Шестова, от феноменологов до Шелера — в логике и в этике целое семейство умов, родственных по тоске, противоположных по методам или целям, ожесточенно стремились воспрепятствовать неуклонному движению разума и найти прямые пути к истине. Я имею ввиду эти известные и пережитые мысли. Независимо от своих намерений все они исходили из этого неопределяемого мира, где царит противоречие, антиномия, тревога и беспомощность. Всем им свойственна отмеченная до сих пор тематика. Нужно подчеркнуть, что и для них особенно важны последствия, которые можно извлечь из этих открытий. Это настолько важно, что их нужно рассмотреть отдельно. Но сейчас речь идет только об открытиях и начальных опытах. Нужно только отметить их общность. Если попытка изложения их философий была бы самонадеянной, достаточно в нашем случае дать возможность почувствовать атмосферу, которая всех их роднит.

Хайдеггер холодно созерцает условия человеческого существования и объявляет, что оно — униженное. Единственная реальность — это "забота", проникающая во все. Для человека, затерянного в мире с его суетой, эта забота — краткий и неуловимый страх. Но если этот страх осознает себя, он станет тревогой, постоянной атмосферой зрячего человека, в которой



с этого момента протекает его существование. Этот профессор философии без содрогания утверждает на самом абстрактном в мире языке, что "конечный и ограниченный характер человеческого существования предопределен еще до появления человека". Он интересуется Кантом, но только для того, чтобы признать ограниченность его "чистого разума". Только для того, чтобы заключить в конце своего анализа, что "мир ничего больше не может дать встревоженному человеку". Эта забота, кажется ему, в такой мере возобладали над категориями суждений, что думать и говорить он может только о ней. Он перечисляет ее формы: скука, когда банальный человек пытается подавить и заглушить ее в себе; ужас, когда разум созерцает смерть. Он ничем не определяет сознание от бессмысленности. Сознание смерти — это зов заботы и "существование обращает тогда свой собственный зов через сознание". Оно — голос самой тревоги, которая требует от существования "вернуться к себе из растворения в безликом "ман".<sup>1/</sup>

С точки зрения Хейдеггера спать нельзя, нужно бодрствовать вплоть до гибели. Он держится в этом бессмысленном мире и обвиняет его в гибельном характере. Он идет свой путь среди развалин.

Неспере отчаявается в познании, потому что он считает, что мы потеряли "наивность". Он знает, что мы не можем достичь ничего такого, что преобладало бы над смертельной игрой видимостей. Он знает, что конец разума — это гибель. Он воздерживается на истории духовных приключений человечества и безжалостно выделяет недостатки каждой системы, — их иллюзии, которые спасала неприкрытая проповедь. В этом опустошенном мире, где невозможность познания доказана, где небытие кажется единственной реальностью, безнадежность неизбежна, и единственное состояние, он пытается отыскать нить Армады, ведущую к божественным секретам.

Со своей стороны Шестов, на протяжении своего творчества, отмеченного прелестной монотонностью, устремленного к одним и тем же истинам, непрерывно доказывает, что самая узкая система — общепринятый рационализм — всегда заканчивает тем, что натывается на иррациональность человеческого мышления. Ни одна проническая истина, ни одно случайное против-

речие, обесценивающее разум, не ускользнуло от него. Его интересует лишь одно: исключение как в истории чувств, так и в истории ума. Сквозь опыт приговоренного к смерти Достоевского, сквозь отчаянные порывы духа Ницше, сквозь проклятия Гамлета или горький аристократизм Ибсена он прослеживает, освещает, и прославляет человеческое восстание против несправедливого. Он отказывает разуму в разумности и если направляет куда-нибудь свои стопы, то только лишь к бесцветной пустыне, где все достоверности обращены в камни.

Кьеркегор, хотя бы в части своего существования, наверное, наиболее привлекательный из всех: он не открывает бессмысленность, он ею живет. Человек, который пишет: "Самая верная немота не в том, чтобы молчать, а в том, чтобы говорить", удостоверяется сначала в том, что ни одна истина не абсолютна и не может сделать существование удовлетворительным и уже поэтому невозможна сама по себе. Дон-Жуан философии, он умножает псевдонимы и противоречия, пишет "назидательные речи" одновременно со своим учебником циничного спиритуализма — "Дневником соблазителя". Он отказывается от утешений, от морали, от любых принципов покоя. Он не бережется, чтобы ослабить боль от занозы в своем сердце. Наоборот, он растравляет ее и в отчаянной радости удовлетворенности распятым на кресте, строит кирпичами ясности, отказа, комедии категорией неистовости. Это мир одновременно некий и издающийся, эти пируеты, сопровождаемые воплем из глубины души — это сам дух бессмысленности в схватке с превосходящей его реальностью. Духовные похождения, приводящие Кьеркегора к дорогим его сердцу возмущениям, тоже начинаются в хаосе опыта, лишенного декораций и приведенного к первоизданной невнятности.

В совсем другой области — методологической — самими своими крайностями Гуссерль и феноменологи создают мир многообразия и отрицают трансцендентальную силу разума. Духовный мир у них неизмеримо обогащается: лепесток розы, километровый столб или человеческая ладонь столь же значительны, как любовь, желание или закон тяготения. Думать — более не значит соединять, осваивать видимость под личиной большого принципа. Думать — теперь означает заново учиться видеть, быть внимательным, это значит направлять свое сознание, делать

из каждой идеи и каждого образа ценность на манер Пруста. Все становится избранным — вот парадокс. Мысль оправдывает ее высшую осознанность. Гуссерлианский метод хочет быть более позитивным, чем у Кьеркегора или Шестова, но тем не менее начинает с отрицания классического метода познания, отвергает надежду, открывает сердцу и интуиции все богатства явлений, в котором есть нечто бесчеловечное. Эти дороги ведут ко всем познаниям или ни к какому. Это значит сказать, что средства здесь важнее цели. Речь идет только "о способе познания", а не об утешении. Снова — во всяком случае, об истоках. Как им почувствовать глубокое родство этих умов! Как им увидеть, что они собрались вокруг горьких ценностей, из которых исчезла надежда! Хочу, чтобы мне объяснили все или ничего. И разум беспомощен перед этим криком сердца. Дух, пробужденный этим тресканием, ищет и не находит ничего, кроме противоречий и неразумностей. То, чего я не понимаю, лишено смысла. Мир полон иррационалистами. Раз у мира нет единого и единственного значения, он представляется огромной бессмыслицей. Достаточно было бы сказать однажды: "все ясно", и все было бы спасено. Но эти завистливые люди заявляют, что ничто не ясно, все хаотично, что человек сохраняет только свою проницательность и точное знание того, что его окружают стены. Все эти опыты сходятся и пересекаются. Разум, достигший предела, должен дать заключение и сделать выводы. Тут и находятся самоубийства и ответ. Но я хочу исследовать это в обратном порядке — начав с интеллектуального движения, вернуться к повседневным поступкам. Опыты, упоминаемые здесь, рождены в пустыне, которую вовсе не нужно покидать. По крайней мере, нужно узнать, до куда они там добрались. На этом пункте своих порывов человек находится перед иррациональным. Находясь здесь, он чувствует свое желание разума и счастья. Бессмысленность рождается из этого столкновения между человеческим стремлением и лишенным смысла молчанием мира. Вот чего не нужно забывать. Вот куда нужно взобраться, потому что здесь могут взять начало все последствия жизни. Иррациональное, человеческая тоска и бессмысленность — вот три персонажа трагедии, которые неизбежно должны покончить со всякой логикой, на какую способно существование.



## ФИЛОСОФСКОЕ САМОУБИЙСТВО

Чувство бессмысленности это не понятие бессмысленности. Но достаточно ему возникнуть, оно создает это понятие. Оно выражается в понятии лишь в тот краткий миг, когда выражает свое суждение о мире. Затем ему остается идти только дальше. Оно живое, а это значит, что оно должно умереть или прозвучать до смерти. То же можно сказать о темах, которые мы сгруппировали. Но и в дальнейшем меня интересуют не произведения и не умы, критика которых потребовала бы другой формы и другого места, но открытие того, что есть общего в их заключениях. Наверное, никогда умы не были столь различными. Однако мы узнаем одинаковость духовных пейзажей, в которых они бьются. Сквозь столь различные методы звучит один и тот же крик, завершающий их речь. Ясно видно, что существует общая атмосфера, свойственная этим умам. Сказать, что эта атмосфера тлетворна, почти не будет игрой слов. Жизнь под этими удручающими облаками требует или найти выход оттуда или остаться там навсегда. Нужно узнать, как выберутся оттуда в первом случае и почему остаются во втором. Так, я определяю проблему самоубийства и интерес, который можно придать заключениям экзистенциальной философии. Сначала я хочу на миг свернуть с прямого пути. До сих пор мы могли изображать бессмысленность только снаружи. Однако можно задаться вопросом, не содержит ли это понятие чего-нибудь ясного и попытаться прямым анализом открыть с одной стороны его значение и с другой — следствия, к которым оно приводит.

Если я обвиняю невиновного в чудовищном преступлении, если я скажу добродетельному человеку, что он вождеством свою сестру, он ответит мне, что это нелепо. В этом возмущении есть смешная сторона. Но и она имеет глубокий смысл. Порядочный человек обозначает этим возражением решительную антиномию, существующую между поступком, которым я его надеялся и принципами его жизни. "Это нелепо" — то есть "это невозможно", но также "это противоречиво". Если я вижу, что человек с саблей в руке нападает на пулеметы, я скажу, что между его желанием и реальностью, которая его ожидает, существует несоответствие, противоречие между его реальными силами и целью, которую он ставит. Также мы считаем бессмысленным приговор, который обоснован внешне. Чтобы пока-



звать бессмысленность, мы сравниваем выводы бессмысленного размышления с логической реальностью, которую нужно утвердить. Во всех этих случаях, от простейшего до самого сложного, бессмысленность будет тем большей, чем больше расхождение между сравниваемыми явлениями. Существуют бессмысленные браки, выводы, страдания, молчания, войны и миры. Во всем этом бессмысленность рождается из сравнения. Так я могу с основанием утверждать, что чувство бессмысленности рождается не из простого наблюдения события или впечатления, но возникает из сравнения между характером события и некоей реальностью, между поступком и миром, который больше поступка. По существу бессмысленность — это разрыв. Ее нет ни в одном из сравниваемых элементов. Она рождается из их сопоставления. Итак, с точки зрения интеллектуальной я могу сказать, что бессмысленности нет ни в человеке (если бы подобная метафора сама имела смысл), ни в мире, но в их совместном существовании. Она сейчас представляет единственное средство связи между ними. Если я хочу остаться при очевидностях, я уже знаю, чего хочет человек, знаю, что предлагает ему мир, а теперь я могу сказать, что знаю, что их соединяет. Мне не нужно копать дальше. Истину достаточно одной достоверности. Теперь остается только извлечь из нее последствия.

Немедленное следствие в то же время есть и руководство к методу. Эта троица, которую мы вывели на свет, не имеет ничего общего с нечаянно открытой Америкой. Но у нее есть нечто общее со всякими итогами опыта: она одновременно бесконечно проста и бесконечно сложна. Первый ее характер в том, что она неразложима. Разрушить одну ее сторону — значит разрушить ее всю. Вне человеческого сознания она не может содержать бессмысленности. Бессмысленность, как и все остальное, кончается смертью. Но вне этого мира бессмысленность не существует. По этому элементарному критерию я знаю, что понятие бессмысленного — основное и что оно может быть первой из двух истин. Руководство к методу, упоминаемое выше, здесь уже обнаруживается. Если я считаю, что-то истинным, я должен это оберегать. Если я пытаюсь дать решение проблемы, я не должен уничтожить этим решением один из ее членов. Единственная данность для меня — это бессмысленность. Задача в том, чтобы узнать, как из нее выбраться, и в том, должно ли выводить самоубийство из бессмысленного.

Первое, я в общем-то единственное условие моих изысканий — сохранить то самое, что подавляет меня, следовательно, уважать то, что я считаю здесь существенным. Я только что определил это как столкновение и непрестанную борьбу.

Продвигая до конца эту абсурдную логику, я должен признать, что эта борьба предполагает (не имея ничего общего с отчаянием) постоянный отказ (который не нужно смешивать с самоотречением) и осознанную неудовлетворенность (которую нельзя путать с юношеским беспокойством). Все, что разрушает, опрокидывает или подтачивает эти требования (и прежде всего приятие, разрушающее разрыв), уничтожает бессмысленность и обесценивает поступок, который может из него следовать. Бессмысленность реальна лишь в той мере, в какой с ней не примиряются.

х х х

Существует явственный факт, выглядящий как моральный — то, что человек всего есть добыча своих истин. Признав их однажды, он не смог бы от них отделаться. Нужно расплачиваться. Человек, осознавший отсутствие надежды, больше не принадлежит будущему. Это закономерно. Но закономерно и то, что он делает усилия, чтобы ускользнуть от мира, созданного им самим. Все преддущее имеет смысл только при учете этого парадокса. Ничто не будет более подчинительным с этой точки зрения, чем рассмотрение способа, которым люди, исходявшие из критики рационализма и признавшие атмосферу бессмысленности, взрастили ее последствия.

Однако если придерживаться экзистенциальных философий, я вижу, что все они без исключения предлагают мне уход. Посредством исключительного в своем роде рассуждения, ведущего от бессмысленности в развалины разума, в замкнутый и ограниченный для человеческого мир, они обожествляют то, что их губит, и находят смысл в надежде на то, что их опустошает. У всех эта насильственная надежда по сути религиозна. Она заслуживает того, чтобы остановиться на ней. Я проанализирую здесь в качестве примера несколько тем, свойственных Шестову и Кьеркегору. Но Ясперс даст нам типический образец этой манеры, доведенной до гротеска. Остальное станет благодаря этому яснее, человека оставляет неспособным осуществить

трансцендентное, не можем проникнуть вглубь опыта и осознать этот мир, потрясенный поражением. Пойдет ли он дальше, или хотя бы измечет следствия из этого поражения? Он не дает ничего нового. Он не нашел в своем опыте ничего, кроме признания своей беспомощности, никакого повода для сколько-нибудь удовлетворительного принципа. Однако он без оснований, как он сам говорит, утверждает единым духом и трансцендентное, и опытное бытие, и надчеловеческий смысл жизни, когда пишет: "Не показывает ли поражение, вне всяких объяснений и возможных толкований, бытие трансцендентности, а не ее несбытие"? Это бытие, которое вдруг, посредством акта слепого человеческого доверия все объясняет, он определяет как "непостижимое единство общего и частного". Так бессмысленность становится богом (в самом широком смысле слова), а невозможность познания — бытием, которое все освещает. Ничто не поддается логике в этом рассуждении. Я могу назвать это рассуждение скачком. Парадоксальна настойчивость, бесконечно терпение Ясперса в том, чтобы сделать опыт трансцендентного неосуществимым. Этот опыт ускользает тем легче, чем мы ближе к нему, более тщетным становится его определение и более реальной — трансцендентность, и страсть, с которой он ее утверждает, точно соответствующая отклонению, существующему между его возможностями объяснения и иррациональностью мира и опыта. Обнаруживается также, что Ясперс тем яростнее старается разрушить предрассудки разума, чем рациональнее он хочет объяснить мир. Этот апостол униженной философии в глубине унижения находит то, из чего он восстанавливает бытие во всей его полноте. Мистическое мышление познакомило нас с этими приемами. Они столько же законны, как любое другое проявление духа. Но сейчас я действую так, как если бы я принимал всерьез некую проблему. Не давая оценку общей ценности этого метода, его познавательных возможностей, я хочу только рассмотреть, отвечает ли он условиям, которые я себе поставил, достоин ли он конфликта, интересующего меня. Итак, я возвращаюсь к Шестову. Комментарий приводит его слова, заслуживающие интереса: "Единственный настоящий выход, — говорит он, — находится как раз там, где с человеческой точки зрения выхода нет. Иначе зачем бы нам был нужен бог? К богу обращаются только для того, чтобы получить невозможное. При



этом люди способны удовлетвориться возможным". Если у Шестова есть философия, я могу сказать, что в этих словах она выражена целиком. Шестов в итоге своих страстных исследований открывает фундаментальную бессмысленность всякого существования, он не говорит: "Вот бессмыслица", но: "Вот Бог — к нему нужно обратиться, даже если он не отвечает ни одной из наших разумных категорий". Чтобы подстановки были невозможны, русский философ наделяет бога ненавистью, да и бога ненавидит, он невнятен и противоречив; но даже в том, где его бессмысленность наиболее отвратительна, Шестов более всего утверждает могущество бога. Его величие — это его непоследовательность. Его реальность — это его бесчеловечность. Нужно прыгнуть к нему и этим скачком освободиться от рационалистических иллюзий. Так, для Шестова принятие бессмысленности совпадает по времени с самой бессмысленностью. Обнаружить ее — значит ее принять, и все логические усилия его мысли направлены к тому, чтобы выявить ее, освободив тем самым необъятную надежду, которую эта бессмысленность несет. Еще раз: этот метод законен. Но я стараюсь здесь рассмотреть единственную проблему и все ее последствия. Я не исследую возвышенность мысли или проявления веры. На это у меня остается вся жизнь. Я знаю, что рационализм считает метод Шестова возбуждающим. Но я чувствую также, что Шестов прав, отрицая рационалиста, и я хочу только знать, остается ли ни верен повелениям бессмысленности.

Однако если признать, что бессмыслица противоположна надежде, можно увидеть, что экзистенциальная мысль предполагает у Шестова бессмысленность, но доказывает ее только для того, чтобы ее развеять. Эта уловка мысли — великолепный фокус конглера. Когда Шестов, с другой стороны, противопоставляет свою бессмысленную обиденной морали и разуму, он называет ее истиной и искуплением. Значит, в основе и в этом определении бессмысленности есть поддержка со стороны Шестова. Если признать, что вся сила этого понятия в том, каким способом оно опрокидывает наши простейшие надежды, если почувствовать, что бессмысленность существует постольку, поскольку с нею не соглашаются, становится видно, что она теряет свое истинное лицо, свой относительный и человеческий характер, чтобы выйти в вечность, непостижи-

му и удовлетворительную одновременно. Если бессмысленное и существует, оно есть во вселенной человека. С того момента, как понятие бессмысленности превращается в трамплин для вечности, она уже не связана с человеческой прозорливостью. Бессмысленность, которую человек констатирует, но с которой не соглашается, перестает быть очевидностью, борьба отбрасывается, ~~Человек~~ Человек, включивший в себя бессмысленность, в этом сопричастии уничтожает самую суть своего характера — сопротивление, разрыв, расхождение. Этот прыжок — обозначение. Шестов, охотно цитирующий слова Гамлета: "Распалась связь времен", — пишет их с какой-то жестокой надеждой, составляющей его особую интонацию. Это звучит не так, как произносит Гамлет, и не так, как пишет Шекспир. Сумерки иррационального и вдохновение отвлекают от бессмысленности пронизательный ум. Для Шестова разум бесплоден, но у него есть нечто сверх разума. Для бессмысленного ума разум бесплоден, но сверх разума ничего нет.

Уже этот скачок может нас отчасти просветить относительно подлинной природы бессмысленности. Мы знаем, что она действительна лишь в равновесии, что она прежде всего существует в равнении, а не в сравниваемых явлениях. Но Шестов переносит всю тяжесть на один член и нарушает равновесие. Наше стремление к познанию, наша тоска по абсолютному объяснимы лишь постольку, постольку мы можем познать и объяснить множество явлений. Не имеет смысла полностью отрицать разум. В своей сфере он достоверен. Его сфера — человеческий опыт. Вот почему мы хотим прояснить все. Если мы этого сделать не можем, если при этом родится бессмысленность, это происходит при встрече достоверного, но ограниченного разума с постоянно возрождающимся иррационализмом. Однако когда Шестов восстает против гегелевской формулы вроде "движения солнечной системы происходит в соответствии с неизменными законами, которые суть его разум", когда он употребляет всю свою страсть, чтобы расматывать рационализм Спинозы, он справедливо заключает о тщетности всякого разума. Отсюда же он, естественно, хотя и незаконно, поворачивает к преобладанию иррационального. I/ Но этот

I/ Особенно — о понятии исключения и против Аристотеля.

переход недостоверен. Здесь могут возникнуть понятия предельности и плана. Законы природы могут иметь смысл до определенных границ, перейдя которые они обращаются против самих себя, порождая бессмысленность. Или же, они могут оправдать себя в сфере описания, не будучи истинными в сфере объяснения. Все принесено здесь в жертву иррациональному, и так как требование ясности снято, бессмысленное исчезает вместе с одним из сравниваемых членов. Бессмысленный человек, напротив, не принимает этого устранения. Он признает борьбу, не отрицает абсолютно разум и принимает иррациональное. Так он собирает все данные опыта и не очень-то расположен прыгнуть прежде, чем познает. Он знает только то, что в его пристальном сознании места для надежды больше нет.

То, что чувствуется у Льва Шестова, еще сильнее проявлялось у Кьеркегора. Конечно, трудно выделять у такого неуловимого автора ясные предложения. Но несмотря на внешне противоположные сочинения, поверх псевдонимов, игр и улыбок во всем его творчестве возникает как бы предчувствие (вместе с осознанием) истины, которая звучит в последних произведениях: Кьеркегор тоже делает скачок. Христианство, так напугавшее его в детстве, в конце концов вернулось к нему в самом жестком облике. Для него антиномия и парадокс тоже становятся критериями верующего. То, что заставляло отчаиваться в смысле и глубине этой жизни, дало ему правду и свет. Христианство — это восстание и Кьеркегор требует от всех третьей жертвы Игнатия Лойолы, которой более всего способен возрадоваться Господь: "жертвы интеллекта".<sup>1/</sup> Этот скачок причудлив, но он не должен нас более удивлять. Он создает из бессмысленности критерий иного мира, когда она всего лишь осадок опыта в этом мире.

"В своем поражении, — говорит Кьеркегор, — верующий обретает свое торжество".

<sup>1/</sup> Можно подумать, что я пренебрегаю важной проблемой веры. Но я не исследую философии Кьеркегора, Шестова и в дальнейшем Гуссерля (для этого нужно другое место и другое состояние духа). Я беру у них тему и рассматриваю, соответствуют ли ее последствия уже установленным правилам. Речь идет только об упорстве.



Я не задаюсь вопросом, с какой волнующей проповедью связана эта позиция. Я спрашиваю о том, делает ли ее необходимой созерцание бессмысленности самой по себе. Я знаю, что нет. Рассматривая снова содержание бессмысленности, лучше видеть метод, вдохновляющий Кьеркегора. Он не поддерживает равновесия между иррациональностью мира и тревожной тоской бессмысленности. Зная, что он не может избежать иррационального, он, по крайней мере, хочет спастись от безнадежной тоски, которая кажется ему бесплодной и пустой. Но если он может быть прав в своем суждении, он не смог бы быть правым в своем отрицании. Если он и заменяет вопль протеста неистовым единением, это приводит его к забвению бессмысленности, освобождавшей его до сих пор, и к обожествлению единственной достоверности, которая у него теперь есть — иррациональности. Аббат Гальяни говорил мадам Эпизэ, что важно не исцелять, а жить со своими болями. Кьеркегор хочет исцелить. Исцелять — вот его неистовое побуждение, проходящее через весь его дневник. Все усилия его ума направлены к тому, чтобы ускользнуть от антиномии человеческого существования. Порой тем более безнадежный, что он проблесками видит его тщетность, например, когда он говорит, что ни страх Божий, ни смирение не были способны дать ему мир. Так, вымученной уловкой он дает образ иррациональному и атрибуты бессмысленности своему богу: несправедливый, непоследовательный и неистощимый. Одним словом, умом он пытается заглушить глубокие требования человеческого сердца. Раз ничего не доказано, все можно доказать.

Сам Кьеркегор показывает нам путь, по которому мы здесь идем. Я совсем не хочу ничего внушать, но как не прочесть в его произведениях признаки почти добровольных увечий души перед увечьем согласия с бессмысленностью. Это лейтмотив "Дневника". "Меня привел к поражению зверь, который тоже участвует в человеческой судьбе... Но дайте же мне тело". И далее: "О, особенно в дни первой молодости чего бы я не отдал, чтобы быть мужчиной хотя бы месяцев шесть... по существу мне не хватает тела и физических возможностей существования". В другом месте тот же человек делает своим великий вопль надежды, прошедший через столько веков и воодушевлявший столько сердец, кроме сердца бессмысленного человека. "Но для христианина

смерть вовсе не является концом всего и несет в себе неизмеримо больше надежды, чем жизнь, даже пылкая здоровьем и силой". Соединение через восстание — это все-таки соединение. Оно допускает, как мы видим, извлечение надежды из своего противоположения — из смерти. Но если даже симпатия позволяет склониться на эту позицию, нужно все же сказать, что божественность ничего не оправдывает. Как говорится, это выше человеческих сил, значит, это должно быть сверхчеловечным. Это следствие превышает меру. В нем нет логической достоверности. Нет и экспериментальной возможности. Все, что я могу сказать: это действительно превышает мои силы. Если это и не вызывает у меня отрицания, я, по крайней мере, не хочу ничего строить на основе непостижимого. Я хочу знать, могу ли я жить с тем, что я знаю и только с этим. Мне говорят также, что я должен пожертвовать гордостью — мыслить и смерить свой разум. Но если я и признаю ограниченность разума, я все же его не отрицаю, признавая его относительные возможности. Я хочу лишь держаться среднего пути, где мое разумение остается ясным. Если гордость разума заключается в этом, я не вижу достаточных оснований отказаться от нее. Бряд ли есть что-либо глубже взгляда Кьеркегора, согласно которому отчаяние не факт, а состояние: даже состояние греха. Потому что грех — то, что удаляет от Бога. Бессмысленность, будучи содержанием сознания человека, не ведет к Богу.<sup>1/</sup> Может быть, это понятие прояснится, если я осмелюсь на такую несобъятность: бессмысленность — это грех без Бога. Она не призывает к преступлениям — это было бы ребячеством, но делает угрызения совести бессмысленными. А раз все опыты безразличны, опыт демона столько же законен, как и другие. Можно быть добродетельным из каприза.

Все морали основаны на идее, что любой поступок имеет последствия, которые оправдывают его или осуждают. Дух, проникнутый бессмысленностью, считает, что эти последствия должны быть оценены спокойно. Он готов платить. Иначе говоря, если для него и есть ответственные, то виноватых

<sup>1/</sup> Я не сказал "исключает бога", это потребовало бы доказательства.

нет. К тому же он склонен использовать прошлый опыт для своих последующих действий. Время дает жизнь времени и жизнь послужит жизни.

В этом поле, одновременно ограниченном и перенасыщенном, ему все в самом себе кажется непредвидимым, кроме ясности сознания. Какое правило может родиться из этого неразумного порядка? Единственная истина, которую он может взять за основу, совсем не формальная: она обретает душу и распространяется в людях.

Это вовсе не этические правила, которые дух бессмысленности может искать в конце своего размышления, а иллюстрации и дыхание жизни людей. Нужно жить в этом состоянии бессмысленности. Я знаю, на чем она основана — этот дух и этот мир склонились друг к другу, не имея сил слиться. Я ищу правило жизни этого состояния, но то, что мне предлагают, пренебрегает его основанием, отрицает один из членов скорбного противостояния, вынуждает меня к отказу. Я спрашиваю, к чему ведет условие, которое я считаю моим, я знаю, что оно приводит к мраку и невежеству, а меня уверяют, что это невежество объясняет все и что эта ночь — мой свет. Но здесь не отвечают на мои побуждения, и этот волнующий лиризм не может скрыть от меня парадокса. Значит, нужно обратиться. Кьеркегор может кричать, предостерегать: "Если бы у человека не было вечного сознания, если бы в глубине всего были только хлопочущие стихийные силы, производящие все великое и малое, в вихре темных страстей, если бы под явлениями была скрыта бездонная пустота, которую невозможно заполнить, чем была бы жизнь, если не отчаянием?" В этом крике нет ничего, что способно остановить бессмысленного человека. Искать истину — не значит искать то, что хочешь найти. Если для того, чтобы избежать тревожащего вопроса "чем была бы тогда жизнь" — нужно стать ослом и питаться розами иллюзий, вместо того, чтобы отказаться от леги, дух бессмысленности без дрожи предпочитает принять ответ Кьеркегора: "отчаяние". Рассмотрев все, обреченная душа всегда успокоится на этом.



## X X X

Я позволяю себе назвать здесь философское самоубийство экзистенциальным характером. Но в этом нет оценки. Это просто удобный способ обрисовать движение, в котором мысль отрицает сама себя и пытается превзойти себя в том, что создает ее отрицание. Для экзистенциалистов отрицание — их бог. Этот бог, безусловно, может подергаться лишь отрицанием разума человека.<sup>1/</sup> Но как и самоубийцы, боги меняются вместе с людьми. Можно прыгнуть различными способами, суть дела в самом прыжке. Эти искупительные отрицания, эти решительные противоречия, отрицающие пренятетные, которое еще не преодолено, могут так же хорошо родиться (это парадокс, на который направлено рассуждение в результате какого-нибудь религиозного внушения) и из мысли. Они претендуют на вечность, и только в этом они делают прыжок.

Нужно также сказать, что размышление, проходящее в этих очерках, оставляет в стороне самую распространенную духовную атмосферу нашего просвещенного века: ту, что опирается на принцип, будто все разумно и старается дать объяснение миру. Естественно придать миру ясный вид, если считать, что он должен быть ясным. Это даже законно, но он не касается размышления, которое мы проводим. Наша цель — осветить движение духа, которое, начиная с философии бессмысленности мира, кончает тем, что находит в нем смысл и глубину. Самое впечатляющее из его проявлений по своей природе религиозно: оно проявляется в теме иррационального. Но самое парадоксальное и самое характерное, конечно, то, которое дает разумное объяснение миру, увиденному сначала без руководящего принципа. Вам не удалось бы прийти к интересующим нас последствиям без осмысления этого нового приобретения духа тоски. Я рассмотрю только тему "Намерение", введенную в моду Гуссерлем и феноменологами. У него есть намеки на это. Прежде всего метод Гуссерля отрицает классические проявления разума. Повторимся. Думать — это не значит соединить, осваивать видимость в образе великого принципа. Думать — это значит заново учиться видеть, направлять свое сознание, делать каждый образ самостоя-

<sup>1/</sup> Еще раз уточним: здесь имеется в виду не утверждение бога, а логика, ведущая к этому.

тельной ценностью. Другими словами, феноменология отказывается объяснять мир, она хочет быть только описанием пережитого. В своем начальном утверждении она примыкает к бессмысленной философии: нет истины, есть только истины. От вечернего ветра до руки на моем плече все имеет свою правду. Это открывает сознание благодаря сосредоточенному здесь вниманию. Сознание не создает свой предмет познания, оно только фиксирует, оно — акт внимания, оно похоже на проекционный аппарат из примера Бергсона, который сосредоточен на одном образе. Разница в том, что здесь нет сценария, есть только непоследовательная смена иллюстраций. В этом волшебном фонаре все образы ценны сами по себе. Сознание извлекает в опыте предметы своего внимания. Оно изолирует их своим чудом. С этого момента они недостижимы для суждений. Это "намерения" и характеризует сознание. Но это слово не обрекает ни на какую идею конечности; оно взято в смысле "направления", оно имеет лишь типографическую ценность.

При первом взгляде кажется очевидным, что здесь ничто не противоречит духу бессмысленности. Это кажущаяся скромность мысли, которая ограничивается описанием того, что она отказывается объяснить, эта добровольная дисциплина, из которой парадоксально вырастет глубокое обогащение опыта и возрождение мира в его многообразии — вот где бессмысленные проявления. По крайней мере, при первом взгляде. Ведь методы мышления, здесь, как и повсюду, обнаруживают два аспекта: психологический и метафизический. Поэтому они тают в себе две истины. Если тема намерения хочет показать только психологическое состояние, в котором реальность будет исчерпана вместо того, чтобы быть объясненной, ее и в самом деле ничто не отделяет от духа бессмысленности. Она хочет разнообразить то, чего не может преодолеть. Она просто утверждает, что при отсутствии хоть какого-нибудь принципа единства, мысль еще может обрести радость, описывая и понимая каждый образ опыта. Правда каждого образа будет психологической. Она свидетельствует только об "интересе", который может представлять реальность. Это — способ пробудить дремлющий мир и сделать его живым для духа. Но если при этом хотят расширить и рационально обосновать это понятие об истине, если таким образом хотят открыть "сущность" каждого объекта

познания, то глубина опыта восстанавливается. Для бессмысленного духа это непонятно. Однако в принципе "намерения" чувствуется колебание от скромности к уверенности, и это мерцание феноменологической мысли лучше всего иллюстрирует логику бессмысленности. Ведь Гуссерль говорит также о "вне-временных сущностях", которые выявляют намерение, словно бы в нем возродился Платон. Все явления невозможно объяснить через одно, но возможно через все. Я не вижу здесь различия. Конечно, они не настаивают на том, что эти идеи или сущности, которые "выявляет" сознание в результате каждого описания — это образцы. Но утверждается, что они прямо присутствуют в каждом акте восприятия. Единственной идеей, объясняющей все, нет, есть бесконечность сущностей, дающих смысл бесконечности предметов. Мир застывает в неподвижности, но озаряется. Платоновский реализм становится интуитивным, но это еще реализм. Кьеркегор растворялся в своем боге, Парменид устремлял мысль к Единственному. Здесь мысль бросается в абстрактный политеизм. Даже лучше: галлицианизм и функции составляют часть "вневременных сущностей". В новом мире идей кентавры сотрудничают с городским жителем. Для бессмысленного человека в чисто психологическом плане, где все образы мира — избранные, правда существует, смешанной с горечью. Все избрано — значит все равно. Но метафизическая сторона этой правды уводит его так далеко, что в простейшей реакции он оказывается ближе всего к Платону. Его учат, что во всяком образе существует равно избранная сущность. В этом идеальном мире без иерархии формальная армия устроена из одних генералов. Трансцендентность, конечно, была исключена. Но внезапный поворот мысли возвращает в мир некое фрагментарное постоянство, восстанавливающее глубину вселенной.

Должен ли я ботаться завести слишком далеко тему, более осторожно развиваемую ее создателями? Я просто читаю утверждения Гуссерля, на вид парадоксальные, но внутренне строго логичные, если учесть предшествующее: "То, что верно, то верно абсолютно, в себе истина едина, равнозначна сама по себе, независимо от того, кто ее воспринимает: люди, чудовища, ангелы или боги". Разум торжествует в этих словах, я не могу этого отрицать. Что может означать это



утверждение в мире бессмысленности? Восприятие Бога или ангела для меня не имеет смысла. Геометрическая точка, где Божественный разум утверждает мою разумность, мне недоступима. Здесь мне тоже нужно сделать прыжок, и, прыгнув в область абстрактную, я, по крайней мере, не получаю забвения того, что на самом деле я не хочу забывать. Когда Гуссерль затем восклицает: "Если бы все массы, приверженные и развлеченные, исчезли, закон развлечения не был бы при этом разрушен, но остался бы просто без возможности применения", я знаю, что нахожусь перед философией утешения. И если я хочу найти поворот, где мысль оставляет путь очевидности, мне нужно только прочесть параллельное рассуждение Гуссерля о духе: "Если мы могли бы извне видеть точные законы физических процессов, они обнаружались равно как вечные и как неизменные, как основные законы теории естественности; то есть они были бы достоверными, если бы даже не было никаких физических процессов". Даже если бы духа не было, его законы бы существовали! Теперь я понимаю, что Гуссерль хочет вывести из психологической реальности разумное правило: после отрицания интегрирующих возможностей человеческого разума он прыгает посредством этой уловки в Вечный Разум.

Гуссерлианская тема "конкретной вселенной" теперь не может меня удивить. Мне говорят, что не все в сущности формально, а есть и материальное, что первое — объект логики, а второе — науки — это лишь вопрос терминологии. Абстрактное, — говорят мне, — обозначает только нематериальную часть всемирной конкретности. Но уже отмеченное колебание позволяет мне вскрыть подмену понятий. Ведь это позволяет сказать, что конкретный объект моего внимания — небо, блеск воды на полях пляжа — сами по себе представляют реальность, которую мой собственный интерес выделяет в мире. И я не стану этого отрицать. Но это может означать и то, что сам этот пляж универсален, имеет свою особую и полноценную сущность, принадлежит к числу форм. Тогда я понимаю, что здесь изменен порядок действий. У этого мира теперь нет страшения в высшей вселенной, но небо форм отражается в множестве образов земли. Это для меня ничего не меняет. Я нахожусь здесь не вкус к конкретному и не смысл человеческого существования, но разрозненный интеллектуализм, неспособный

обобщить даже конкретное.

х х х

Напрасно было бы удивляться кающемуся парадоксу, приводящему мысль к самоотрицанию путями, противоположными уникальному и торжествующему разуму. От абстрактного бога Гуссерля до сияющего бога Кьеркегора расстояние невелико. Разум и иррациональное ведут к той же пропасти. Но на деле путь не так важен, — воля к достижению цели удовлетворяет всех. И абстрактный, и религиозный философ исходят из общей растерянности и переживают обмун тревогу. Но главное — объяснить. Тоска здесь сильнее науки. Показательно, что современная мысль одновременно является одной из самых пропитанных философией бессмысленности мира и одной из самых противоречивых в ее выводах. Она непрерывно колеблется между крайней рационализацией реальности, приводящей к типизации мышления, и крайней иррационализацией, приводящей к обожествлению реальности. Но этот разлад только кажущийся. Задача в том, чтобы примириться, и в обоих случаях для этого нужно перепрыгнуть реальность. Напрасно принято считать, что понятие разума однозначное. На самом деле, при всей строгости позиции, эта концепция подвижна не менее, чем другие. В разуме как будто нет ничего кроме человеческого, но он также способен обратиться к божественному. Со времен Платона, которые впервые сумел соединить разум с атмосферой божественного, разум научился отворачиваться от самого дорогого своего принципа — противоречия, чтобы вместить самый странный, чудесный принцип участия. <sup>1/</sup> Она — инструмент мышления, а не мышление как таковое. Мысль отдельного человека — это прежде всего его

<sup>1/</sup> А. В эту эпоху разум должен был или приспособиться или умереть. Он приспособился. С Платоном он из логики превратился в этику. Метафора заменила символизм.

В. Впрочем, это не единственный вклад Платона в феноменологию. Это положение целиком содержится в мысли, дорогой александрийскому мыслителю, о том, что есть не только идея человека, но также идея Сократа.

тоска по утраченной родине.

Подобно тому, как разум смог утолить меланхолию Платона, он дает современной тревоге средства, чтобы успокоиться в родной атмосфере вечности. Духу бессмысленности меньше повезло. Мир для него и недостаточно разумен и недостаточно неразумен (иррационален). Он только лишь обесмыслен. У Гуссерля разум в конечном счете безграничен. Бессмысленность не устраивает этот предлог, потому что бессильна успокоить свою тревогу. Кьеркегор со своей стороны утверждает, что одного ограничения достаточно, чтобы ее отвергнуть. Но бессмысленность не заходит так далеко. Этот предел для нее обращен лишь против притязаний разума. Тема иррационального у экзистенциалистов — это блуждающий разум, который освобождается в самоотрицании. Абсурд — это пронизательный разум, сознающий свои пределы.

В конце этой трудной дороги бессмысленный человек признает свои подлинные побуждения. Сравнивая свои глубокие запросы с тем, что ему предлагают, он внезапно чувствует, что сейчас он отвернется. Во вселенной Гуссерля мир освещается и стремление к узнаваемости, исходящее из человеческого сердца, становится бесконечным. В апокалипсисе Кьеркегора человек должен отказаться от стремления к свету, чтобы сделать человека удовлетворенным. Грех не столько в познании (с этой точки зрения все невинно), сколько в желании познания. Это как раз тот самый грех, относительно которого бессмысленный человек чувствует свою виновность и свою невинность. Ему предлагается развязка, в которой все презанье противоречия кажутся лишь игрушечным спором. Но он-то почувствовал их не так. Нужно сохранять собственную истину, которая состоит в том, чтобы не удовлетворяться. Он не хочет проповеди. Мое рассуждение хочет быть верным факту, который его вызвал. Этот факт — абсурд. Это раздор между каждым духом и разочаровывающим миром; моя тоска по единству; рассеянная вселенная и противоречие, сковывающее их. Кьеркегор устраняет тоску, а Гуссерль собирает вселенную. Но я не этого искал. Нужно было думать и жить с этими разрывами, знать, что нужно принять или отвергнуть. Вопрос не в том, чтобы замаскировать очевидность, упразднить бессмысленность, отрицая один из членов ее уравнения. Нужно знать, можно ли жить бессмысленностью, или же логика требует от нее смерти. Я интересуюсь не фило-



не философским самоубийством, а самоубийством как таковым. Я хочу только очистить его от эмоционального содержания и понять логику и честность. Всякая другая позиция предполагает для духа бессмысленности уловку и уход духа от того, что он сам обнаружил. Гуссерль призывает слушаться желания ускользнуть от косной привычки жить и думать в условиях существования, которые хорошо знакомы и удобны, но заключительный прыжок возвращает нам у него вечность и все удобства. Прыжок не представляет собой крайней опасности, как полагает Кьеркегор. Опасность как раз в неуловимом мгновении, предшествующем прыжку. Уметь продержаться на этой головокружительной вершине — вот это честно, остальное — уловки. Я знаю также, что никогда беспомощность не рождала таких волнущих уговоров, как у Кьеркегора. Но если беспомощность имеет место в равнодушном пейзаже истории, она не смогла бы найти его в мышлении, требования которого нам теперь известны.

#### БЕССМЫСЛЕННАЯ СВОБОДА

Теперь главное сделано. Я держу несколько очевидностей, от которых не могу отвязаться. Важно то, что я знаю, в чем я уверен, чего я не могу отрицать, чего не могу отбросить. Я могу отрицать в себе все, что живет этой неопределенной тоской, кроме желания единства, этого стремления к ответу, требования света и ясности. Я могу отвергнуть все в этом мире, что меня окружает, сталкивается со мной или насчет меня, кроме этого зауса, этого всевластия случая и этого божественного безразличия, рождающегося из анархии. Я не знаю, имеет ли этот мир превосходящий его смысл. Но я знаю, что этот смысл мне неизвестен и что сейчас я не могу его познать. Что значит для меня смысл вне моей жизненной ситуации? Я могу понимать только область человеческого. То, что я трогаю, что сопротивляется руке. И обе эти достоверности — мое желание абсолютного и единства, и несводимость этого мира к рациональному принципу — никак не сходятся. Какую другую истину могу я признать без лжи, без вмешательства надежды, которой у меня нет и которая ничего не значит из-за ограниченности моей жизни?

Был бы я деревом среди деревьев, конкой среди живот-

ных, эта жизнь имела бы смысл, точнее, эта проблема бы не существовала, так как я составлял бы часть этого мира. Я был бы этим миром, которому сопротивляюсь сейчас всем моим сознанием и всей потребностью в родстве. Мой ничтожный разум противопоставляет меня всей природе. Я не могу отвергнуть его одним росчерком пера. Я должен поддерживать то, что считаю истинным. Даже если то, что представляется мне истинным, направлено против меня, я должен это поддерживать. И что же, как не мое сознание, создает основу этого конфликта, этого разрыва между миром и моим умом? И если я хочу его поддержать, это достижимо постоянным напряжением сознания. Вот что мне нужно сейчас удерживать. В этот момент бессмысленность, одновременно такая ясная и такая неуловимая, входит в жизнь человека и находит свою родину. В этот момент дух еще может покинуть гладкую и иссушенную дорогу освещающим усилием. Эта дорога впадает в русло повседневной жизни. Она открывает теперь мир безликого "оно", но человек отныне приходит сюда со своим возмущением и своей пронизательностью. Он разучился надеяться. Этот ад реальности теперь его царство. Все проблемы приобретают остроту. Абстрактная достоверность исчезает перед лиризмом форм и красок. Духовные конфликты укореняются в сердце человека, находят там блистательный и нищенский кров. Ни один из них не разрешен. Но все преобразены. Что теперь — умереть, ускользнуть прыжком, создать дом идей и форм по своей марке? Или же, наоборот, поддерживать душевраздирающее и прекрасное противоречие бессмысленности? Сделаем с этой позиции последнее усилие и извлечем все наши последствия. Тело, немность, творчество, действие, человеческое достоинство займут тогда свое место в этом бессмысленном мире. Человек найдет в нем вино бессмысленности и хлеб безразличия, которыми он питает свое величие. Еще раз обратим внимание на метод: нужно сопротивляться. На некоей точке своего пути бессмысленный человек подвергается воздействию. В истории достаточно религий и пророков даже без божества. От него требуют прыгнуть. Все, что он может ответить, это то, что он не очень их понимает, что это не очевидно. Он хочет делать лишь то, что хорошо понимает. Ему говорят, что это — грех гордости,

но для него не существует понятия греха; его пугает адом, но у него не хватает воображения, чтобы представить себе это странное будущее, пугают утратой вечной жизни, но и это не преграда для него. Ему хотят дать почувствовать его вину. Он же чувствует себя невинным. Но существу он только это и чувствует — свою безукоризненную невинность. Она-то и разрешает ему все. Итак, то, что он требует от себя самого — это жить лишь тем, что он знает, обходиться тем, что есть и не пользоваться ничем из того, что недостоверно. Ему говорят: все недостоверно. Но это все-таки достоверность. С ней-то он и имеет дела: он хочет узнать, возможна ли жизнь без призвания.

х х х

Теперь я могу приступить к понятию самоубийства. Уже чувствуется, какое решение возможно ему дать. В этот момент проблема перевернута. Сначала нужно было узнать, должна ли жизнь иметь смысл, чтобы стоило жить. Здесь же, напротив, выясняется, что ее можно прожить тем лучше, чем она бессмысленнее. Прожить некий опыт, некую судьбу — значит полностью ее принять. Однако эту судьбу невозможно прожить, зная, что она бессмысленна, если не сделать все, чтобы поддерживать окружающую бессмысленность, выявленную сознанием. Отрицать один из членов этого противоречия означает уйти от него. Устранить сознательный протест значит обойти проблему. Так тема перманентной революции перемещается в индивидуальный опыт. Жить — значит дать жизнь бессмысленности. Дать ей жить, значит, прежде всего, видеть ее. В противоположность Эвридике бессмысленность умирает лишь тогда, когда от нее отворачиваются. Итак, одна из немногих ясных философских позиций — протест. Он есть вечное столкновение человека со своим собственным неизвестным. Он есть требование неосуществимой прозрачности. В каждый миг он превращает мир в вопросы. Подобно тому, как опасность дает человеку единственный повод ее познать, философский протест распространяет сознание на весь опыт. Он есть постоянное присутствие человека в нем самом. В нем нет уст-



ремления, он безнадежен. Этот протест всего лишь осознание губительной судьбы без самоотречения, которое должно было бы его сопровождать. Здесь видно, в какой мере опыт бессмысленности далек от самоубийства. Можно подумать, что самоубийство следует за протестом. Но напрасно. Ибо оно не представляет логического завершения протеста. Напротив, оно противоположно самоубийству в том, что предполагает согласие. Самоубийство — как прыжок, есть только выход из пределов протеста. Пережив все, человек возвращается в свою обычную историю. Его будущее, его единственное и ужасное будущее различимо для него, и он устремляется туда. Самоубийство в своем роде есть разрешение бессмысленности. Оно вовлекает человека в ту же смерть. В крайней точке последней мысли приговоренного к смерти существует шнурок ботинка, который он, несмотря на досаду, замечает в нескольких метрах от себя, на самом краю головокружительного падения. Антипод самоубийцы — это, конечно, приговоренный к смерти. Этот протест дает свою цену жизни. Проходя через всю жизнь, он создает величие. Для человека без шор нет лучшего зрелища, чем борьба сознания с превосходящей его реальностью. Зрелище человеческой гордости несравненно. Никакие обесценивания не действуют на него. Эта дисциплина, продиктованная разумом себе самому, эта железная воля, эта позиция "лицом к лицу" обладают чем-то могущественным и исключительным. Обеднить реальность, в которой бесчеловечность образует величие человека, значит вмещать обеднить его самого. Теперь я понимаю, почему доктрины, объясняющие все, в то же время ослабляют меня. Они лишают меня тяжести моей собственной жизни, а мне-то нужно, чтобы я нес ее сам. На этом повороте я могу видеть, как скептическая философия может соединиться с моралью отречения.

Сознание и протест — эти отвержения противоположны отречению. Все, что есть непримиримого и страстного в сердце человека, воодушевляет их на обратное его жизни. Нужно умерять непримиренным и не естественным путем. Самоубийство — это неблагодарность. Бессмысленный человек может лишь исчерпать все и исчерпать себя. Бессмысленность есть самое крайнее напряжение, которое он постоянно поддерживает одиноким усилием, так как он знает, что в этом сознании и в этом повседневном протесте он свидетельствует о своей единственной

истине — о вызове. Это — первое следствие.

х х х

Если я придерживаюсь этой определенной позиции, которая заключена в том, чтобы извлечь все последствия (и только их), вытекающие из открытого представления, я оказываюсь перед лицом второго парадокса. Чтобы остаться верным этому методу, мне не нужно заниматься проблемой метафизической свободы. Знать, свободен ли человек, мне не интересно. Я могу испытывать лишь собственную свободу. Относительно нее я <sup>не</sup>могу иметь общих представлений, а лишь несколько ясных наблюдений. Проблема "свободы в себе" бессмысленна. Совсем иными способами свобода связана с проблемой Бога. Знать, свободен ли человек, требует знания, может ли он иметь хозяина. Конюс в этой проблеме возникает из-за того, что самое понятие, делающее возможной проблему свободы, лишает ее тотчас же всего ее смысла. Потому что перед Богом есть скорее проблема зла, нежели свободы. Альтернатива известна: или мы не свободны и всемогущий Бог ответственен за зло. Или же мы свободны и ответственны, но Бог не всемогущ. Все тонкости философских школ ничего не добавили и не смягчили остроту этого парадокса. Вот почему я не должен погружаться в рассуждения или даже в простое определение понятия, которое ускользает от меня и теряет смысл с того момента, как выходит за рамки моего индивидуального опыта. Я не могу понять, что такое свобода, которую мне могло бы дать высшее существо. Я потерял смысл иерархии. Я могу иметь только представления узника о свободе или современного индивида в государстве. Единственная известная мне свобода — свобода действия и духа. Однако если бессмысленность уничтожает все мои надежды на вечную свободу, она возвращает и пробуждает мою свободу поведения. Это лишние надежды и будущего означает увеличение неистраченных сил человека.

Прежде чем встретить бессмысленность, человек дня живет целями, заботами о будущем или оправданиями (кого и чего — это здесь не важно). Он оценивает свои возможности, он рассчитывает на будущее, на пенсию или на работу сыновей. Он еще верит, что в его жизни все может наладиться. В действи-

тельности он поступает так, как если бы был свободен, даже если все факты заставляют его признать несвободу. После опыта бессмысленности все потрясено. Сознание того, что "я есть" — манера поступать так, как если бы все имело смысл (даже если при случае я говорю, что все бессмысленно), — все это оказывается опровергнутым головокружительным образом бессмысленностью возможной смерти. Думать о завтрашнем дне, сосредотачиваться на цели, иметь предпочтение, — все это предполагает веру в свободу, даже если иногда и не чувствуешь ее. Но в этот миг я уже хорошо знаю, что этой высшей свободы, свободы быть, которая только и может создать истину — нет. Смерть оказывается единственной реальностью. После нее все уже сыграно. Я не только не свободен продолжать жизнь, — я раб, и раб без надежды на вечное возрождение и без свободы презирать. И кто же без возрождения и без презрения может оставаться рабом? Какая может существовать свобода без обеспеченной вечности?

Но в то же время бессмысленный человек понимает, что до сих пор он был связан этим постулатом свободы, с иллюзией которой он жил. В некотором смысле это его стесняло. В той мере, в какой он воображал цель своей жизни, он приспособлялся к требованиям, необходимым для достижения цели, и становился рабом своей свободы. Так, я не могу действовать иначе, чем отец семейства (или инженер, или вождь народов, или кассир в ПТТ), если к этому я себя готовлю. Я думаю, что могу предпочесть это скорее, чем другое. Я верю в это бессознательно, — это правда. Но я в то же время защищаю постулат моих верований от тех, кто меня окружает, от предрассудков среды (другие так уверены в своей свободе и эта уверенность так заразна). Как бы далеко не держались мы от нравственных или социальных предрассудков, мы подвержены им хотя бы отчасти — лучшим из них (есть плохие и хорошие предрассудки), мы подчиняем им свою жизнь. Так бессмысленный человек понимает, что в действительности он не был свободен. Точнее говоря, в той мере, в какой я надеюсь или беспокоюсь об истине, которую считаю своей, в манере жизни или творчества, в той мере, в какой я упорядочиваю мою жизнь и тем самым признаю, что у нее есть смысл, я создаю себе барьеры, в которых обьется моя жизнь. Я поступаю как множество чиновников духа и сердца, вызывающих во мне лишь отвращение, которые



как я теперь вижу, только и делают, что принимают всерьез человеческую свободу. Бесмысленность озаряет меня на этот счет: будущего нет. Вот отныне смысл моей глубокой свободы. Я использую здесь два сравнения. Мистики сначала находят свободу в самоотдаче. Погружаясь в своего Бога, принимая его законы, они, в свою очередь, становятся тайно свободными. Они обретают глубокую независимость в согласии на рабство. Но что означает эта свобода? Можно сказать, что они чувствуют себя свободными перед самими собой и не столь даже свободными, сколько освобожденными. Подобно этому бессмысленный человек, целиком обращенный к смерти (принимаемой за самую очевидную бессмысленность), чувствует себя освобожденным от всего, кроме страстного внимания, кристаллизующегося в нем. Он наслаждается свободой по отношению к общепринятым правилам. Здесь видно, что отправные точки экзистенциалистской философии сохраняют все свое значение. Возврат к сознанию, уход от повседневного сна образуют первые проявления бессмысленной свободы. Но в философии преследуется экзистенциалистская проповедь, а с нею — духовный прыжок, в глубине ускользающий от сознания. Подобным образом (это мое второе сравнение) античные рабы не принадлежали себе. Но они знали свободу, которая заключается в том, чтобы не чувствовать свою ответственность. Смерть — тот же патриций, она убивает, но она и освобождает.

Принцип освобождения здесь в том, чтобы погрузиться в эту бездонную достоверность, чувствовать себя настолько чужим своей собственной жизни, чтобы увеличивать ее и ее пробежать без близорукости любовника. Эта новая независимость, как и всякая свобода, основана на действии. Она не рассчитывает на вечность. Но она заменяет иллюзии свободы, которые не переживает смерти. Божественный прилив сил приговоренного к смерти, перед которым однажды до рассвета отдираются двери тюрьмы, это невероятное равнодушие ко всему, кроме чистого пламени жизни, смерть и бессмысленность оказываются здесь единственными принципами разумной свободы: той, которую может испытывать и которой может жить человеческое сердце. Это — второе следствие. Бессмысленный человек получает возможность видеть мир обжигающий и леденящий, прозрачный и ограниченный, где ничто невозможно, но все дано, и после которого

— погружение и небытие. Он может тогда решиться принять жизнь в таком мире и черпать в нем свои силы, свой отказ от надежды и упрямое утверждение жизни без утешения.

х х х

Но что означает жить в таком мире? Пока ничего другого, кроме безразличия к будущему и страсти исчерпать все, что дано. Вера в смысл жизни всегда предполагает шкалу ценностей, выбор, предпочтения. Вера в абсурд по нашему определению учит обратному. На этом стоит остановиться. Меня интересует лишь одно: узнать, можно ли жить без призвания. Я не могу покинуть эту почву. Могу ли я приспособиться к такому образу жизни? Однако перед лицом исключительной заботы вера в бессмысленность приводит к замене качества опытом количеством. Если я знаю, что у этой жизни нет других лиц, кроме абсурда, если я чувствую, что все ее равновесие держится непрерывным противоречием между моим сознательным протестом и мраком, с которым я воюю, если я признаю, что моя свобода имеет смысл лишь по отношению к моей ограниченной судьбе, я должен сказать, что главное — жить не лучше, а больше. Я не думаю, вульгарно это или горько, элегантно или прискорбно. Здесь раз и навсегда суждения ценности отвергнуты ради признания факта. Мне остается только делать выводы из того, что я могу видеть и не признавать ничего гипнотического. Предполагая, что такая жизнь не честна, настоящая честность обязала бы меня быть бесчестным.

Жить как можно больше — в широком смысле это правило жизни ничего не значит. Нужно его уточнить. Прежде всего, кажется, недостаточно разработано понятие количества. Оно может выражать значительную часть человеческого опыта. Мораль человека, его система ценностей имеют смысл лишь в количестве и разнообразии опыта, который ему дано усвоить. Однако современные условия жизни предлагают большинству людей одинаковое количество опыта, исходящего из общего источника. Конечно, нужно учитывать индивидуальный взнос каждого — то, что ему "дано". Но я не могу судить, исходя из этого, и снова мое правило требует обходиться немедленной информацией. Тогда я вижу, что собственный характер общепринятой морали

основам не столько на идеальной важности принципов, вдохновляющих ее, сколько на норме опыта, которую можно измерить. Несколько насидя реальность, греки имели мораль отдыха, как мы имеем мораль 8-часового дня. Но многие люди, и среди самых трагических, дают нам предчувствие того, что более долгий опыт изменит эту систему ценностей. Они дают нам возможность вообразить искателя повседневных развлечений, который побьет все рекорды простым количеством опыта (я намеренно использую этот спортивный термин) и достигнет таким образом своей собственной морали.<sup>1/</sup> Однако оставим романтизм и посмотрим только, что может означать эта позиция для человека, решившегося продолжать свои пари и строго соблюдать то, что он считает своими правилами игры. Побить рекорды означает прежде всего находиться как можно чаще в сношениях с миром. Как это может происходить без противоречий и без игры слов? С одной стороны, абсурд считает, что все опыты безразличны, а с другой — стремится к наибольшему количеству опытов. Как же тогда возможно поступать не как большинство людей, о которых я говорил выше, выбирать форму жизни, приносящую нам как можно больше человеческого содержания, утверждая тем самым систему ценностей, которая, с другой стороны, отрицается?

Но это бессмысленность и ее противоречивая жизнь запутывают нас. Было бы ошибкой думать, что это количество опытов зависит от обстоятельств нашей жизни, когда оно зависит только от нас. Здесь нужно быть простаком. Для двух человек одного возраста мир предлагает ту же сумму винтов. От нас зависит понять это. Почувствовать свою жизнь, свой протест, свою свободу как можно более — это и значит, как можно больше жить.

---

<sup>1/</sup> Количество иногда создает качество. Если верить в последние выводы естествознания, то вся материя состоит из энергетических центров. Более или менее большое количество их образует более или менее индивидуализированные явления. Миллиард попов отличается от одного не только количественно, но и качественно. В человеческом опыте легко найти аналогию.



Там где властвует отсутствие иллюзий, система ценностей становится ненужной. Будем еще проще. Скажем, что единственное препятствие, единственный неблагоприятный момент — преждевременная смерть. Мир, предполагаемый здесь, живет в постоянном сопротивлении этому постоянному исключению — смерти. Поэтому никакая глубина, никакое чувство, никакая страсть и никакая жертва не могут сравниться в глазах бессмысленного человека (даже если он этого хотел) с сознательной жизнью в сорок лет и пронизательностью, растянутой на шестьдесят лет.<sup>1/</sup> Безумие и смерть — это его неизбежности. Человек не выбирает. Бессмысленность и прирост жизни, который она содержит, таким образом, не зависят от воли человека, а только от ее противоположности — от смерти.<sup>2/</sup> Хорошо взвешивая слова, можно сказать, что все дело здесь в удаче. Нужно уметь ее ловить. Двадцать лет жизни и опыта ничем незаменимы.

Но непоследовательности для такой разумной расы, как греки, они считали, что умершие в молодости возлюбленны богами. И это верно лишь в том случае, если признать, что войти в призрачный мир богов означает — навсегда, потерять чистейшую из радостей осязать и ощущать на земле... Настоящее в смене настоящего перед непрерывно сознательной душой — вот идеал бессмысленного человека. Но слово идеал звучит здесь фальшиво. Это вовсе не его призвание, а прос-

---

1/ То же размышление об отдельном понятии — идее небытия. Оно не прибавляет и не убавляет ничего в реальности. В психологическом опыте небытия имеем смысл наблюдение того, что произойдет через 2 тысячи лет, чтобы это касалось нашего собственного небытия. С одной из сторон небытие состоит из суммы будущих жизней без нас.

2/ Воля здесь — только действующая сила: она стремится поддержать сознание. Она обеспечивает дисциплину жизни — это ценно.

то третье следствие рассуждений бессмысленного человека. Начиная со знания, встревоженного бесчеловечностью, размышления над бессмысленностью приходят к концу своего маршрута в объятья страстного пламени человеческого возмущения.

х х х

Итак, я извлекаю три следствия бессмысленности: мое восстание, моя свобода и моя страсть. Посредством игры сознания я превращаю приглашение к смерти в правило жизни и отказываюсь от самоубийства. Я, конечно, приглушенный отклик, проходящий через эти мои дни. Но я могу лишь сказать: это необходимо. Когда Ницше пишет: "Ясно видно, что главное требование на небе, как и на земле — длительное одинаково направленное послушание: в результате возникает что-то, ради чего жизнь стоит труда на этой земле, например, добродетель, искусство, музыка, танец, разум, дух, что-то преобразующее, утонченное, безумное и божественное", он иллюстрирует нравственное правило большого размаха. Но он не показывает путь бессмысленному человеку. Подчиняться пламени и легче всего, и труднее всего. Хорошо все же то, что человек, примериваясь к трудности, иногда осуждает себя. Только он и может это сделать.

"Молитва, — говорит Ален, — это ночь, опустившаяся на мысль". Но нужно, чтобы дух принял ночь, — отвечают мистики и экзистенциалисты. Это верно, но не ту ночь, что родится под закрытыми глазами по воле человека — мрачная и закрытая ночь, которую дух приемлет, чтобы в ней затеряться. Если он должен встретить эту ночь, она должна быть, скорее всего, ночью осознанной безнадежности, полярная ночь бодрствующего духа, откуда возникнет, быть может, белый нетронутый свет, показывающий каждый предмет в свете понимания. На этой ступени равнодушие встречает страстное признание. Уже нет больше вопроса об оценке экзистенциального прыжка. Он занимает свое место посреди вековой картины человеческих нравов. Для зрителя, если он сознателен, этот прыжок еще бессмысленен. В той мере, в какой он надеется разрешить парадокс, он восстанавливает его целиком. В этом он волнуется. Здесь все встает на свои места и бессмысленный мир возрождается в своем блеске и разнообразии.

Но куда — остановиться, трудно — удовлетвориться одним мировоззрением, лишиться себя противоречия, самой тонкой из духовных сил. Все, что сказано, определяет только образ мысли. Теперь предстоит жить.

### БЕССМЫСЛЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК

"Если Ставрогин верует, он не верит, что верует. Если он не верует, он не верит, что не верует"

(*"Бесы"*)

Мое — поле, — говорит Гете, — это время". Это настоящие слова бессмысленности. Что такое бессмысленный человек? — Тот, кто, не отрицая вечности, ничего не делает для нее. Тоска ему все же знакома. Он ей предпочитает мужество и свое разумение. Первое его учит жить без призвания и удовлетворяться тем, что он имеет, второе дает ему знание о его предельности. Зная, что его свобода ограничена, что его восстание лишено будущего, и что его сознание погибнет, он продолжает свое существование во времени своей жизни. Здесь его поле, здесь его деятельность, которую он оберегает от любых оценок, кроме своих. Большая жизнь не значит для него другая жизнь. Это было бы нечестно. И даже не говорю здесь о той призрачной вечности, которую называют глупою — в потомстве. Мадам Ролан полагалась на себя. Ее осторожность — хороший урок. Потомство охотно вспоминает это слово, но забывает судить о нем. Мадам Ролан безразлична потомству. Рассуждать о морали нет необходимости. Я видел дурно поступающих высоко нравственных людей, и каждый день убеждаюсь, что честность хорошо обходится без правил. Бессмысленный человек может принять только одну мораль — ту, что не отделяет себя от Бога; ту, что внушает себя. Но он-то, как раз живет вне этого Бога. Что касается других моралей (в том числе и имморализма), бессмысленный человек видит в них только оправдание, а ему нечего оправдывать. Я исхожу здесь из принципа его невинности.

Эта невинность грозна. "Все дозволено!" — восклицает Иван Карамазов. Это тоже бессмысленно. Но при условии,



если не принимать ее вульгарно. Не знаю, замечено ли это: это ведь не крик освобождения и радости, а горькая констатация. Уверенность в существовании Бога, дающего смысл жизни, гораздо привлекательнее свободы безнаказанного злодейства. Выбор не был бы трудным. Но выбора нет, и тут начинается горечь. Бессмысленность связывает, а не освобождает. Она не разрешает все поступки. Все дозволено — значит лишь, что ничего не запрещено. Бессмысленность возвращает только свое безразличие к последствиям поступков. Несколько следующих портретов — именно таковы их герои — следуют бессмысленному размышлению, сохраняя его манеру и придавая ему свое тепло. Нужно ли мне доказывать, что пример вовсе не обязательно пример для подражания (тем более, что он возможен только в мире бессмысленности) и что эти иллюстрации к тому же вовсе не образцовые?

Помимо того, что нужно для этого иметь призвание, можно также оказаться смешным, доказывая, что Руссо рекомендовал ходить на четвереньках, а Ницше — оскорблять своих матерей. "Нужно быть бессмысленным, — пишет один из современных авторов, — но не нужно быть дураком".

Способы поведения, изображаемые здесь, приобретают полное значение лишь в сопоставлении с противоположными действиями. Сортировщик на почте равен завоевателю, если у него такое же сознание. С этой точки зрения любой смит безразличен. Есть лишь то, что служит или не служит человеку. В противном случае они не имеют значения: поражения человека говорят не об обстоятельствах, но о человеке.

Я избрал только таких людей, которые стремятся исчерпать себя и о которых я знаю, что они себя исчерпывают. Дальше этого дело не идет. Сейчас я могу говорить лишь о мире, где мысли, как и жизнь, лишены будущего. Все, что заставляет человека работать, все, что его возбуждает, пользуется надеждой. Единственно неглухая мысль — бесплодная. В бессмысленном мире ценность понятия или жизни измеряется их ничемностью.

## Д О Н - Ж У А Н

Если бы было достаточно любви, все было бы слишком просто. Чем больше любят, тем плотнее становится бессмысленность. Дон-Жуан переходит от женщины к женщине вовсе не из-за недостатка любви. Смешно представить его как вдохновенного искателя полноценной любви. Но именно потому, что он любит с равным увлечением и каждый раз с полной самоотдачей, ему нужно повторять эту самоотдачу и это углубление. Отсюда каждая женщина стремится дать ему то, что никто и никогда ему больше не давал. Но каждый раз они глупо ошибаются и им удается только дать ему почувствовать необходимость повторения. "Но, — восклицает одна из них, — я дала тебе, наконец, любовь!" Надо ли удивляться, что Дон-Жуан смеется в ответ: "Наконец? Нет, — говорит он, — просто еще один раз". Нужно ли любить редко, чтобы любить много?

## X X X

Грустен ли Дон-Жуан? Это на него не похоже. И напрасно бы стал перечитывать хронику. Его смех, победная беззаботность, порхание и театральность — все это светло и радостно. Всякое здоровое существо стремится к размножению. Так и Дон-Жуан. К тому же грустными бывает по двум причинам: когда не знают или когда надеются. Дон-Жуан знает и не надеется. Он заставляет вспомнить артистов, которые знают пределы своих возможностей, никогда их не переходят и в этом ненадежном интервале, где живет их дух, владеют прекрасною легкостью мастеров. Именно в этом его гений: разумная осторожность. Вплоть до грани физической смерти Дон-Жуан не знает грусти. Пока же он знает, смех его звучит и заставляет все простить. Он был грустен, когда надеялся. Сегодня, любя эту женщину, он возвращает горький и успокаивающий вкус единственной науки. Горький? Чуть-чуть: необходимо несовершенство, чтобы сделать счастье смутным.

Большой глупостью было бы видеть в Дон-Жуане человека, вдохновленного Эклезиастом. Надежда на иную жизнь — самое большое тщеславие для него. Он доказывает это, пото-

му что живет против самого неба. Сожаление об утраченном в утехах желании — это общее место беспомощной импотенции, — ему не свойственно. Это скорее годится для Фауста, который достаточно верил в Бога, чтобы продаться дьяволу. Для Дон-Жуана все проще. Тирсо де Молина на все угрозы ада отвечает: "Дай мне только срок подольше". То, что будет после смерти — пустяки, зато какая длинная вереница дней для того, кто умеет быть живым. Фаусту нужны были блага этого мира: несчастному же было надо только протянуть руку. Не уметь возрадовать душу уже означало продать ее дьяволу. Дон-Жуан, напротив, сам создает удовлетворение. Если он покидает женщину, то совсем не потому, что он ее больше не желает. Красивая женщина всегда желанна. Но он желает в ней другую, а это не одно и то же. Эта жизнь его переполняет, нет ничего хуже, чем ее потерять. Этот безумец — великий мудрец. Но люди, живущие надеждой, плохо приспособляются к его миру, где доброты уступает место великодушью, вежность — мужскому молчанию, общение — одинокому мужеству. И всеобщее мнение:—"Это был слабый, идеалист или святой". Нужно как следует умалить оскорбляющее величие.

х х х

Речами Дон-Жуана возмущаются, как и его одинаковой образой, служащей для всех женщин. Но для того, кто ищет количество радостей, в счет идет только действительность. Слова-отмечки, приводящие к цели, незачем усложнять. Никто — ни мужчина, ни женщина не слушают их, они слушают голос. Слова — ритуал, уговор и вежливость. Сказав их, остается сделать самое важное. Дон-Жуан уже готовится к этому, — зачем ему задаваться моральной проблемой? Это не Маньяра Милош, осуждающий себя из желания быть святым. Ах для него — то, что вынуждают на себя. На божественный гнев у него есть один ответ — человеческая честь: "У меня есть честь, — говорит он Командору, — я исполняю мой долг, потому что я дворянин". Но было бы такой же большой ошибкой видеть в нем имморалиста. С этой точки зрения — он "как все": у него есть мораль симпатий и антипатий. Нельзя хорошо понять Дон-Жуана, — то, что он символизирует, имея в виду лишь вульгарное: обычный соблазнитель и мужчина для женщин. Он — обычный соблазнитель I

I/ В полном смысле и со своими недостатками. Здоровое поведение тоже имеет свои недостатки.



с той лишь разницей, что он сознателен и в этом он — бессмысленный герой. Соблазнитель, овладев проникательностью, не очень-то изменяется. Соблазнять — это его состояние. Только в романах изменяют состояние и становятся лучше. Но можно сказать, что хоть ничего и не изменилось, все преобразилось. Дон-Жуан осуществляет этику количества, в отличие от святого, который стремится к качеству. Не верить в глубокий смысл вещей свойственно бессмысленному человеку. Он пробегает теплые и очаровательные образы, пожинает их и скигает. Время идет вместе с ним. Бессмысленный человек не отделяет себя от времени. Дон-Жуан не хочет коллекционировать женщин. Он исчерпывает их число вместе с шансами на жизнь. Коллекционировать — значит быть способным на жизнь прошлым. Но он отвергает сожаление — эту вторую форму надежды. Он не умеет смотреть на портреты.

х х х

Он в какой-то мере эгоист? — По-своему, конечно. Но и здесь нужны уточнения. Есть люди, созданные, чтобы жить, и другие, чтобы любить. Во всяком случае Дон-Жуан сказал бы это охотно. Но он мог бы выбирать только задним число. Потому что любовь, о которой идет речь, наряжена в иллюзии вечности. Все специалисты страсти учат нас тому, что вечная любовь всегда остается неразделенной. Страсть невозможна без борьбы. Вечная любовь обретает итог лишь в крайнем противоречии — в смерти. Нужно быть Вертером, или ничем. Здесь тоже есть множество способов самоубийства, один из которых — полная отдача и самозабвение. Дон-Жуан, как и другие, знает, что это может волновать. Но он один из немногих знающих, что главное не в этом. Он хорошо знает, что те, кого большая любовь отвращает от личной жизни, возможно и обогащаются, но они наверняка обедняют тех, кого их любовь избрала. Мать или жена, испытывающие страсть, неизбежно черствы сердцем, так как их сердце не принадлежит всему. Единственное чувство к единственному существу, но все поглощено страстью. Дон-Жуана потрясает другая любовь, и она освободительница. Она приносит с собой все лица мира, и ее трепет рожден сознанием недолговечности. Дон-Жуан избрал быть ничем.

Для него главное — ясно видеть. Мы называем любовью

то, что связывает нас с некоторыми существами только по отношению к некоему общераспространенному взгляду, в котором виноваты книги и легенды. Я знаю в любви только смесь желания, нежности и ума, соединяющую меня с другим существом. Этот состав не один и тот же для разных людей. Я не имею права называть все эти переживания одним именем. Это заставило бы повторять его с одинаковым жестом. Бессмысленный человек увеличивает здесь количество того, что он не может соединить. Так он открывает новый образ жизни, который освобождает его так же, как и тех, кто к нему приближается. Нет великодушной любви кроме той, кто к нему приближается. Нет великодушной любви кроме той, которая чувствует себя одновременно переходящей и исключительной. Таковы все смерти и все возрождения, образующие для Дон-Жуана катушку его жизни. Это его способ давать и оживлять. Судите сами, можно ли говорить здесь об эгоизме.

х х х

Я думаю здесь о всех, кто настаивает на осуждении Дон-Жуана. Не только в будущей жизни, но и в этой. Я думаю обо всех этих сказках, легендах и анекдотах о постаревшем Дон-Жуане. Но Дон-Жуан ко всему уже готов. Для сознательного человека старость и ее последствия — не сюрприз. Он сознателен как раз в такой мере, чтобы не прятаться от ужаса. В Афинах был храм, посвященный старости. Туда водили детей. Чем больше смеются над Дон-Жуаном, тем сильнее самобвинение на его лице. Он отказывается от лица, которым наделяли его романтики. Никто не хочет смеяться над страдающим и жалким Дон-Жуаном. Его жалют, может быть и небо его простит? Но это не так. Во вселенной Дон-Жуана смех также осознан. Он бы считал естественным наказание. Это правило игры. И в этом-то проявляется его великодушие — принятие правил игры. Но он знает, что он прав и не может действовать как наказанный. Судьба — это не наказание.

Вот в чем его наказание и вот почему люди вечности требуют для него наказания. Он достигает знаний без иллюзий и отрицает то, что другие исповедуют. Любить и обладать, завоевывать и исчерпывать — вот его метод познания. (В излюбленном слове Библии, называющем акт любви "познанием", есть

свой смысл). Он — худший враг людей вечности в той мере, в какой он не считается с ними. Хроника свидетельствует, что исторический Дон-Жуан был убит францисканцами, они хотели "положить конец бесчинствам и богохульству Дон-Жуана, которому происхождение обеспечивало безнаказанность". Затем они объявили, что его покарало небо. Никто не доказал этой странной кончины. Но никто не смог доказать и обратного. Но, не задаваясь вопросом о правдоподобности, я могу сказать, что это логично. Я хочу только оставить термин "происхождение" и сыграть словами: его невинность обеспечивала то, что он жил. Только его смерть создала его легендарную виновность.

Что другое могла означать эта колодная статуя, этот каменный командор, восставший чтобы наказать кровь и мужество, осмелившиеся мыслить. Все силы Вечного разума, подьяка, мировой морали, все чуждое величие гневного Бога проявилось в нем. Этот гигантский и бездушный камень символизирует силы, которые Дон-Жуан отверг навсегда. Но на этом кончается миссия командора. Молния и гром могут вернуться обратно на поддельное небо, откуда их призывали. Настоящая трагедия разыгрывается вне всего этого. Дон-Жуан умирает не под каменной рукой. Я охотно верю в легендарную бравату, в глухой смех здорового человека, бросающий вызов несуществующему Богу. Но я верю больше в то, что вечером, когда Дон-Жуан ждал Анну, командор не пришел и что после полуночи безбожник должен был почувствовать ужасную горечь тех, кто жил сознанием своей правоты. Еще охотнее я поверил бы рассказу, в котором Дон-Жуан кончает добровольным заточением в монастыре. Только назидательная сторона этой истории может быть признана правдоподобной. Какое убеждение можно просить у Бога? Но это выражает скорее логическое завершение жизни, проникнутой бессмысленностью, жесточайшая развязка существования, обращенного к радостям, не имеющим автора. Радость кончается здесь в аскезе. Нужно понять, что они могут быть двумя лицами развязки. Какой из двух устрашающих образов избрать — образ человека, которого предает его тело; не погибнув вовремя, он идет конца в комедийном положении перед лицом непризнаваемого им Бога, служа ему как он служил жизни, преклонив колени перед пустотой и протянув руки к безмолвному небу, о котором он знает, что оно лишено смысла.

Я представляю Дон-Жуана в келье одного из испанских мо-



настирей, на склоне холма. И если он что-нибудь видит (через горячее окошко) сквозь пылающее окошко, то вовсе не призраки исчезнувшей любви, но скорее какую-нибудь безмолвную долину Испании, прекрасную бездушную землю, где он определил свою судьбу. Да, только на этой меланхолической и слящней картине стоит остановиться. А конец — ожидаемый, но совсем не долгожданный — этот окончательный конец он презрел.

### А К Т Е Р

Гамлет говорит: "Зрелище — петля, чтоб заарканить совесть короля?" Хорошо сказано: заарканить. Совесть движется быстро и ускользает. Нужно поймать ее налету в тот неоценимый момент, когда она бросает на самое себя беглый взгляд. "Поденщик природы" не любит задерживаться. Все толкает его к спешке. Не в то же время ничто более не интересует его, чем он сам. Отсюда его вкус к театру, к зрелищу, где ему предлагается столько судеб, из которых он получает столько поэзии, не страдая от горечи. Это — бессознательный человек, продолжающий торопиться с неведомо какой надеждой. Бессмысленный человек начинается там, где бессознательный кончается, где, устав восхищаться игрой, дух хочет включиться в нее. Проникнуть во все эти жизни, испытать их во всем их разнообразии, это, собственно, и значит — сыграть их. Я не говорю, что актеры вообще подчиняются этому порыву, что они — бессмысленные люди, но то, что их судьба — бессмысленная судьба, могущая соблазнить и привлечь пронзительное сердце. Это необходимо учесть, чтобы правильно понять следующее.

Актер царствует в области переходящего. Из всех видов славы слава актера наиболее эфемерна. Так во всяком случае говорят. Но всякая слава эфемерна. С точки зрения Сириуса творения Гете через десять тысяч лет превратятся в пыль и имя его забудут. Какие-нибудь археологи, возможно, будут искать "свидетельства" нашей эпохи. Эта мысль была всегда воспитующей. Подумав над нею хорошенько, мы превращаем наше возбуждение в глубокое достоинство, заключенное в безразличии. Но оно тотчас направляет наши устремления к са-

тому достоверному, то есть к самому срочному. Из всех слав наименее обманчива та, которая живет собой.

Актер, таким образом, выбрал бесконечную славу, которая посвящена себе самой и которая испытывается. Он извлекает лучшее заключение из того, что все должно однажды умереть. Актеру везет или не везет. Писатель сохраняет надежду, даже если он не признан. Он полагает, что его произведения засвидетельствуют то, что он был. Актер в лучшем случае оставит нам фотографию и ничто из того, чем он был, — ни жесты, ни паузы, ни частое дыхание, ни любовные вздохи не сохранятся для нас. Не быть известным для него — значит не играть, значит сто раз умереть со всеми существами, которых он мог бы одушевить или воскресить.

х х х

Считать преходящей славу, основанную на самом эфемерном творчестве? — в этом нет ничего удивительного. Актеру дано 3 часа, чтобы быть Яго или Альцестом, Федрой или Глочестером. В этом коротком промежутке он застаивает их возникнуть и погибнуть на пятидесяти квадратных метрах подмостков. Никогда бессмысленность так долго и так хорошо не иллюстрировалась. Эти прекрасные жизни, эти исключительные и полные судьбы, пересекающиеся и завершающиеся в стенах за несколько часов, — о каком лучшем способе показать себя можно мечтать? Перейдя площадку, Сигизмунд исчезает. Через два часа он обедает в городе. Тут-то, наверное, жизнь и становится сном. Но после Сигизмунда приходит другой. Герой, страдающий от неуверенности, сменяет человека, рыващего после своей мести. Пробежав века и характеры, подражая человеку, каким он может быть и каков он есть, актер совпадает с другим бессмысленным персонажем — с путешественником. Как и он, актер исчерпывает нечто, безостановочно двигаясь. Он — путешественник во времени и в лучших образцах — путешественник, ловящий души. Если когда-нибудь мораль количества могла найти себе пингу, так это прежде всего на сцене. Трудно сказать, в какой мере актер извлекает выгоду из своих персонажей. Но главное не это. Нужно лишь узнать, в какой мере он отождествляет себя с

ними незаменимыми жизнями. Случается, что он уносит их с собой, и тогда они несколько выходят из того времени и пространства, в котором родились. Они сопровождают актера, который не может уже легко расстаться с тем, кем он был. Случается, что он поднимает стакан жеством Гамлета, поднимающего кубок. Нет, дистанция между оживленными им существами и им самим невелика! Тогда она постоянно подтверждает в изоляции плодотворную истину, что нет границ между тем, чем может быть человек и тем, что он есть. Он доказывает насколько подобие может стать сущностью, постоянно стараясь лучше сыграть сегодняшнюю роль. Ведь его искусство — абсолютное подражание, как можно более глубокое проникновение в чужие жизни. В итоге его усилий задача проясняется: всем сердцем стараться быть ничем или быть многим. Чем уже границы, в которых ему предстоит создать персонаж, тем необходимее его талант. Через три часа он умрет под личиной, которая сегодня — его лицо. Нужно, чтобы за три часа он пережил и выразил великим исключительную судьбу, — это называется потерять себя, чтобы себя найти. В эти три часа он проходит до конца дорогу без выхода, на которую человек из партера затрачивает всю жизнь.

Подражатель преходящему, актер упражняется и совершенствуется только внешне. Условность театра в том, что движения сердца можно выразить и сделать понятными только жестами и телом — или же голосом, который порою выражает и тело и душу. Закон этого искусства требует, чтобы все было преувеличено и передано через тело. Если бы на сцене понадобилось любить, как любят, использовать этот неповторимый голос сердца, смотреть, как при этом смотрят, наш язык остался бы зашифрованным. Здесь молчание должно быть слышимым. Любовь повышает тон и даже неподвижность становится зрелищной. Царствует тепло. Кто живет — тот не "театрален" и за этим словом, напрасно забытым, кроется целая эстетика и целая мораль. Половина жизни человека проходит в "подтексте". От отворачивается и молчит. Актер же здесь. Он открывает тайники закованной души и все страсти устремляется на сцену. Они — в каждом жесте, они живут только криком. Так, актер сочиняет напказ своим персонажи. Он рисует их или лепит, он вливается в их воображаемые формы и дает их призракам свою кровь. Я говорю только о настоящем театре, который дает актеру возможность заполнить свои



физически. Возьмите Шекспира. В этом театре с первого движения ярость тела ведет танец. Она объясняет все. Без нее все бы рухнуло. Никогда бы король Лир не пошел навстречу безумию без грубого жеста, заточающего Корделию и приговаривающего Эдгара. Тогда оправдано, что эта трагедия развивается под знаком безумия. В души вселились демоны, все проходит под их сарабанду. Не меньше четырех безумцев: один по профессии, другой по воле, два других — из-за мучений — четыре невыразимых лица одного состояния.

Но самих возможностей тела недостаточно. Маска и котурны, грим, разрушающий и выделяющий лицо в основных элементах, гротескный и упрощенный костюм — этот мир жертвует всем ради видимости и творит только для глаза. Нелепое чудо совершается так, что знакомство с героем происходит через тело. Я никогда не пойму Яго лучше, чем если я его сыграю. Сколько бы я его не слышал, я пойму его только в миг, когда я его вижу. От нелепого персонажа актер может получить монотонию, — один из упрямых силуэтов, проходящий через всех его героев. Так великое произведение, написанное для театра, служит единству его тона.<sup>1/</sup> Здесь актер противоречит себе: все тот же и все же такой разный, столько душ — и в одном теле. Но это и есть противоречие бессмысленности — индивида, который хочет всего достичь и все пережить, эта тщетная попытка и ее пустое упорство. Тот, кто противоречит себе, однако, в себе всегда один. Он расположен так, что его дух и его тело соединяются и сливаются, в нем дух, уставший от своих поражений, обращается к своему самому верному союзнику. "Благословенны те, — говорит Гамлет, — чья кровь и мысли так забавно перепутаны, что они не могут быть флейтой, на которой пальцы фортуны не заставят петь любую дырочку".

Как могла церковь не осудить в актере подобное занятие? Она отвергала в этом искусстве еретическое умножение душ, буйство чувств, скандальную претензию духа, отказывающегося

---

<sup>1/</sup> Я думаю здесь об Альцесте Мольера. Все так просто, так ясно и так грубо. Альцест против Филиппа, Селимена против Элианта — весь сюжет в нелепом последствии характера, доведенного до конца, и даже сами стихи, "плохие" стихи, произносимые в стиле монотоний характера.

жить вне судьбы и бросающегося во все крайности. Она а изгоняла из них чувство настоящего и триумф Прометея, отрицающих все, чему она учит. Вечность — это не игрушки. Дух, бессмысленный настолько, чтобы предпочесть ей комедию, потерял свое спасение. Невозможен компромисс между "всюду" и "всегда". Вот почему это обезцененное ремесло могло бы дать повод огромному духовному конфликту. "Важна не вечная жизнь, — говорит Ницше, — а вечная живость". Весь трагизм — в этом выборе.

Андреонна Лекуврер на смертном одре захотела исповедаться и причаститься, но отказалась отречься от своей профессии. Этим она уничтожила результат исповеди. Это было не что иное, как восстание ее глубокой страсти против Бога. Эта женщина в агонии, отказавшись в слезах отвергнуть то, что она называла своим искусством, проявила величие, которого никогда не достигала перед рамной. Это была самая прекрасная ее роль, самая трудная для исполнения. Выбрать между небом и верностью призрачности, предпочесть себя вечности или потонуть в Боге — это вековая трагедия, где нужно занять свое место.

Актеры той эпохи знали, что отлучают себя от церкви. Войти в искусство означало избрать ад. И церковь видела в них своих худших врагов. Некоторые литераторы возмущаются: "Как? Отказать Мольеру в последней помощи!" Но это был справедливо, особенно для того, кто умер на сцене, — окончив под ружьями свою жизнь, отданную развлечению. По этому поводу вспоминают, что гений извиняет всё. Но гений не извиняет ничего именно потому, что он от этого отказывается.

Актер знал тогда, какое наказание ему обещано. Но какой смысл могли иметь такие неясные угрозы перед последним наказанием, уготованном самой жизнью? Он испытал его заранее и принял целиком. Для актера, как и для бессмысленного человека, преждевременная смерть означает конец всего. Ничто не заменит суммы лиц и веков, которые он мог бы пробежать. Но в любом случае предстоит умереть. Актер, конечно же, существует всюду, но время уносит и его, и поступет с ним по-своему.

Не много нужно воображения, чтобы почувствовать теперь что означает судьба актера. Он создает и перечисляет свои персонажи во времени.

Во времени же он учится подниматься над ними. Чем больше он прожил различных жизней, тем лучше он отделяется от них. Приходит время, когда надо умереть для сцены и для мира. Все, что он прожил — перед ним. У него нет иллюзий, он сознает, что в его похождениях трагично и необратимо. Он знает, теперь может умереть. Для старых актеров есть специальные дома.

## БОРЕЦ

"Нет, — говорит борец, — не думайте, что любовь к действию разучила меня мыслить. Напротив, я могу прекрасно определить, во что я верю. Потому что я верю сильно и вижу определенно и ясно. Не верьте тем, кто говорит: "Я слишком хорошо это знаю, чтобы мочь выразить". Если они не могут, значит они не знают или же по лености остановились на поверхности".

У меня не много суждений. В конце жизни человек обнаруживает, что он провел годы, убеждаясь в одной единственной истине. Но и одной истины, если она ясна, достаточно для жизненного поведения. Мне есть что сказать об эгоистической личности. О ней нужно говорить жестко и если нужно, с соответствующим презрением.

Человек более человечен в том, о чем он молчит, чем в том, что он говорит. Есть многое, о чем я хвчу умолчать. Но я твердо уверен, что все, кто судил об индивидуалистической личности, делали это на основе куда меньшего опыта, чем мы. Чувствительный разум задолго до нас предчувствовал то, что надо было понять. Но наша эпоха, ее разрушения, ее кровь дадут и нам наглядный урок. Древние народы и даже более поздние вплоть до нашей машинной эры размышляли о взаимоотношении общества и личности, искали, кто кому должен служить. Это было возможно прежде всего благодаря успешной операции в сердце человека, согласие которой люди существуют для того, чтобы служить или чтобы им служили. Это было возможно и потому, что ни единица, ни общество еще не показали, на что они способны.

Я видел, как здравомыслящие люди восхищались шедеврами голландских художников, созданными в разгаре кровавых войн во Фландрии, приходят в восторг перед озарениями силезских мистиков, возникшими во время ужасающей тридцатилетней войны. Вечные ценности сливаются перед их удивленными глазами над



тревогами веков. Но с тех пор время шло вперед. Современные художники лишены этой безмятежности. Даже если у них где-то есть сердце, необходимое творцу, то есть черствое сердце, ему нечего делать, ему нечего делать потому, что все мобилизовано, включая святых. Вот, наверное, то, что я глубже всего прочувствовал. В каждой форме, брошенной в траншею, в каждой линии, метафоре или молитве, иссеченной металлом, вечное отчасти погибает. Сознывая, что я не могу отделить себя от своего времени, я решил породниться с ним телом. Поэтому я не поступаю подобно особам, которые кажутся мне ничтожными и умижающимися. Зная, что правое дело не побеждает, я его люблю: оно требует отдать всю душу как при поражении, так и при случайных победах. Для того, кто чувствует себя солидарным с судьбой этого мира, потрясения цивилизации вызывают тревогу. Я делаю эту тревогу своей и хочу сыграть в ней свою роль. Между историей и вечностью мой выбор — история, потому что я люблю достоверности. В существовании истории я уверен: как отрицать силу, подавляющую меня?

Всегда наступает время, когда нужно выбирать между созерцанием и действием, Это называется стать мужчиной. Страдания при выборе ужасны. Но для гордого сердца здесь не может быть середины. Есть Бог и время, этот крест или эта шпата. Смысл этого мира выше его суеты или же эта суета истинна. Нужно жить вместе со временем и умереть вместе с ним или избежать его ради более значительной жизни.

Я знаю, что есть сделка, что можно жить во времени и верить в вечность. Это называется — принять. Но мне это противно, я хочу все или ничего. Если я избрал действие, не думайте, что созерцание будет неведомо мне. Но оно не может дать мне все, и лишены вечности, я хочу слиться со временем. Я не хочу брать на себя ни тоску, ни горечь — я только хочу ясно их видеть. Уверяю вас: завтра вы будете мобилизованы. Для меня и для вас это освобождение. Человек один не может ни черта и однако он может все. В этом прекрасном избытке сил вы понимаете, почему я возбуждаю и подавляю его одновременно. Мир уничтожает его, а я освобождаю. Я даю ему все права.

Воины, борцы знают, что действие само по себе бесполезно. Есть лишь одно полезное действие: переделывать чело-

века и мир. Я никогда не переделаю людей. Но поступать нужно так, как будто это возможно. И путь борьбы приводит меня к телу. Тело, даже униженное, остается моей единственной достоверностью. Я могу жить только им. Моя родина, — моя плоть. Вот почему я избрал эту бессмысленную пустую силу. Вот почему я на стороне борьбы. Этим, как я сказал, занята эпоха. До сих пор величие завоевателя было географическим. Оно измерялось пространством завоеванных территорий. Слово изменило смысл вовсе случайно, случайно означает генерала-победителя. Теперь величие изменило свой лагерь. Оно — в протесте, в бесплодной жертвенности. И вовсе не из любви к пораженным. Победить было бы хорошо. Но одна победа — значит вечная. Я никогда ее не достигну. Вот на чем я спотыкаюсь и на чем я зацепляюсь. Революция всегда начинается против богов, начиная с Прометея, первого из современных борцов. Это протест человека против его судьбы: протест бедняка только предлог. Но я могу уловить этот дух только в его историческом действии. И только здесь я к нему присоединяюсь. Не думайте однако, что я обольщаюсь: перед основным противоречием я поддерживаю и свое человеческое противоречие.

Я утверждаю свою ясность посреди того, что ее отрицает. Я возбуждаю человека против того, что его подавляет, и моя свобода, мой протест и моя страсть соединяются в этом направлении, пронизательности и безмерном повторении.

Да, человек — свой собственный конец. И он — свой единственный конец. Если он хочет быть чем-либо, так только в этой жизни. Теперь я знаю его целиком. Борцы говорят иногда о необходимости победить и преодолеть. Но это всегда означает превзойти самого себя. Каждый человек в какой-то момент почувствовал себя равным богу. Так, по крайней мере, говорят. Но это происходит оттого, что в миг озарения он окутан удивительное величие человеческого духа. Борцы отличаются от других людей тем, что чувствуют себя в силах постоянно жить на этой высоте, и с полным ее сознанием. Это так или иначе арифметическая проблема. Борцы способны на большее. Но они не могут большего, чем сам человек, когда он этого хочет. И вот почему они никогда не покидают человеческой почвы, погружаются в пылающую душу революций.

Они находят здесь измученных тварей, но в это же время излюбленные свои ценности — человек и его молчание. Для них существует только одна роскошь — человеческие отношения. Как не понять, что в этом унылом мире все человеческое и только лишь человеческое обретает более влиятельный смысл! Открытие лица, братство в опасностях, смелая и крепкая дружба людей между собой — это настоящие ценности, потому что — переходящие. Только тут дух лучше всего чувствует свои возможности и свои пределы. То есть свои очертания. Некоторые говорят о гениальности. Но не торопитесь с этим, я предпочитаю разумность. Нужно сказать, что она может быть в этих обстоятельствах прекрасной. Она освещает эту пустыню и преобладает перед ней. Она знает ее беды и иллюстрирует их. Она умрет вместе с этим телом. Но сознавать это — вот в чем свобода ее.

Мы знаем: все церкви против нас. В этом напряжении сердца освобождается от вечности, а все церкви — божественные и политические, претендуют на вечность. Счастье и храбрость, зарплата и справедливость для них имеют вторичное значение. Они приносят доктрины, которые нужно принимать. Но мне ничего делать с идеями или с вечностью. Мои истины в том, что можно потрогать рукой. Я не могу отделить себя от них. Вот почему вы не можете ничего построить на мне: у борца ничто неечно и даже его доктрины.

В конце всего, вопреки всему, смерть. Мы это знаем. Мы знаем также, что она завершает все. Вот почему покрывавшее Европу кладбище, которое неотступно преследует кой-кого из нас, омерзительно. Прекрасно лишь то, что любовь, а смерть утомляет нас и отвратительна для нас. Не тоже нужно перебороть. Последний Каррара и узник, опустошенный чумой Падуя, осажденный венецианцами, бежал с криком по залам пустынного дворца: он призывал дьявола и требовал от него смерти. Этим он хотел ее победить. И он — один из борцов собственного Запада мужества — считает места, где смерть уважает, такими отвратительными. Во вселенной восставшего человека смерть вызывает несправедливость. Она — высшее зло.

Другие столь же неподкупно выбрали вечность и отказались от близости этого мира. Их кладбища улыбаются, окруженные цветами и призраками. Это на пользу борцу, ибо дает ему лю-



ный образ того, что он отверг. Он же выбрал черные железные стенки или безымянный ров. Лучшие из "ладей вечности" иногда чувствуют ужас, смешанный с восхищением и жалостью, перед ладьями, способными жить с подобными представлениями о своей смерти. Но однако эти люди черпают отсюда силы и мораль. Наша судьба нам ясна, и мы сами пытаем ее. Не столь из гордости, сколь из сознания пустоты нашей жизни. Вот единственное сострадание, кажущееся приемлемым: чувство, которое вы, быть может, никогда не поймете и которое кажется вам недостаточно мужским. Однако его испытывают нахрабрейшие из нас. Но мы называем мужественными сознательных и не хотим силы, которая отделяется от пронизательности.

Еще раз напомню: эти образы не предлагают способов поведения, они не содержат и оценки. Это — наброски. Они изображают только стиль жизни. Любовник, актер или авантюрист — все они играют бессмысленность. Если угодно, то конечно, таковы же и целомудренный, и чиновник, и президент республики. Достаточно знать и не притворяться. В итальянских музеях иногда можно встретить маленькие живописные экраны, которые поны держали перед лицами приговоренных к смерти, чтобы они не видели зинафот. Прижок во всех своих видах, устремление в божественное или в вечное, изгнание повседневных иллюзий или идей, все эти экраны скрывают абсурд. Но есть чиновники без экрана, и о них-то я хочу говорить.

Я выбрал самые крайности. На этой ступени бессмысленность дает нам полномочия. Верно, что эти принципы не имеют царств. Но у них есть то преимущество перед другими, что они знают: любое царство иллюзорно. Они знают, вот все их величие, и напрасно было говорить о том, что они скрывают несчастье, или печаль сожженных иллюзий. Быть лишенным надежды не значит чувствовать безнадежность. Земное пламя вполне стоит небесного благочумия. Никто не может их в этом осуждать. Они не хотят быть лучшими, они хотят быть последовательными. Если слово "мудрый" приложимо к ладьям, которые живут тем, что у них есть, не спекулируют на том, чего не имеют, тогда все они мудрецы. Один из них — борец, но в сфере духа — Дон-Жуан, но в области познания — актер, — но играющий на сцене разума, знает это лучше кого-либо другого:

"Тот, кто довел до совершенства свою маленькую овечью добродетель, не заслуживает привилегий ни на земле, ни на небе: даже в лучшем случае баранок остается смешным баранком с рогами — больше ничем, даже принимая в расчет то, что он не лопается от тщеславия и не вызывает возмущения своими суждениями".

Нужно было показать наиболее горячие образы бессмысленной логики поведения. Воображение может добавлять к этому множество других, ограниченных временем и заточенным, которые тоже умеют жить по мерам мира без будущего и без слабости, этот бессмысленный и лишенный бога мир населяют люди, которые ясно мыслят и больше не надеются. Но я еще не говорил о самом идеальном персонаже — о творце.

## БЕССМЫСЛЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

### ФИЛОСОФИЯ И РОМАН

Все эти жизни, находящиеся в скупой атмосфере бессмысленности, не смогли бы продержаться без какой-либо постоянной глубокой мысли, возросшая их своей силой. Здесь же это может быть только исключительным чувством преданности. Мы видели сознательных людей, выполнявших свой долг в самой тяжелой из войн и не видящих противоречий. Это называлось "ничего не избегать". Таким образом, в поддержке бессмысленности мира можно обрести духовное счастье. Борьба или игра, количественная любовь, бессмысленное противодействие — таковы достоинства, с которыми человек возвращает самоуважение в сражении, где он заранее побежден.

Надо только быть преданным правилам боя. Этой мысли вполне достаточно, чтобы питать дух: она поддерживала и подкармливает целые цивилизации. Войну не отрицают. Нужно умереть на войне или жить войной. Так обстоит и с абсурдом: нужно дышать им, признавать его уроки и найти их суть. С этой точки зрения радость творчества по преимуществу бессмысленна. "Искусство, только искусство, — говорит Ницше, — у нас есть искусство, чтобы не умереть от правды".

В опыте, который я пытаюсь описать и дать его почувствовать в разных видах, на месте умершего волнения возникает другое. Детские поиски забвения — тяга к удовлетворению —

теперь не получает ответа. Но постоянное напряжение, поддерживаемое человека перед лицом мира, намеренное ослепление, толкание к восприятию, рождает в нем другую лиричность. В этом мире творчество остается единственным шансом поддержать сознание и закрепить в нем жизнь со стимулом интереса ( ). Творить — значит жить дважды. Беспомощные слепые поиски Пруста, его тщательно подобранная колляция цветов, ковров и травог означает только это. В то же время она несет в себе не больше, чем постоянное и непринимое творчество, которым заняты все дни своей жизни автор, борец и все прочие бессмысленные люди. Все пытается пережить выражение своей реальности, повторить ее и перетворить. Все существование человека, отвернувшегося от вечности, есть только безмерное поправление под маской абсурда. Творчество — это великое подражание.

Это люди знают заранее, а затем все их усилия сводятся к тому, чтобы пробовать, увеличить и обогатить остров без будущего, на который они только что выбрались. Но прежде всего нужно знать. Бессмысленное открытие мира совпадает с обетанной, когда вырабатываются и узакониваются будущие страсти. Даже люди без Евангелия ищут свой Синай. И там также нельзя уснуть. Для бессмысленного человека нет задачи объяснить и разрешить, его задача — постигать и описывать. Все начинается пронизательным равнодушием.

Описать — такова последняя претензия бессмысленной логики. Наука тоже, добравшись до конца своих парадоксов, перестанет предлагать и останавливается на созерцании и описании вечно девственной картины явлений. Так сердце узнает, что чувство, ведущее нас по образам мира, приходит к нам не из его глубины, а из его многоликости. Объяснение бессмысленно, но ощущение сохраняется, а вместе с ним — признание количественно неисчерпаемой вселенной. Этим определяется место произведения искусства.

Оно обозначает одновременно смерть опыта и его удвоение, оно как бы монотонное и страстное повторение музыкальных тем, оркестрованных миром: тело, неисчерпаемый образ на фасадах звуков, формы или краски, число или споры. Но безразлично будет, в замечание, обнаружить основные темы этого очерка в блистательном и мифическом мире творца.



Было бы ошибкой видеть в нем символ и думать, что произведение искусства можно принимать в конечном счете как вывод из абсурда. Оно самое бессмысленное явление, оно лишь описывает бессмысленность. Оно не дает выхода духовной болезни. Напротив, оно один из признаков этой болезни, пронизывающий сознание человека. Но впервые оно выводит дух наружу и располагает его перед другими людьми не для того, чтобы они тут затерялись, но чтобы точно указать им поиск выхода, в который вовлечены все. Во времена абсурдного мышления творчество подчинено безразличию и обнавлению. Оно показывает точку, из которой вытекают бессмысленные страсти и где останавливается размышление. Так определяется его место в этом очерке.

Достаточно будет осветить несколько тем, общих творцу и мыслителю, чтобы мы нашли в произведении искусства все противоречия мысли, погруженной в абсурд. Однородность выводов родственных умов менее существенна, чем общность противоречий, свойственных им. То же и в творчестве, и в мышлении. Брив ли нужно говорить, что к этим занятиям их толкает та же тревога. В этом начале они совпадают. Но среди всех философов, исходящих из абсурда, очень немногие в нем удерживаются. Но их исключения и неверности яснее всего заметно, что они принадлежат только к абсурду. Параллельно нужно задать вопрос: возможно ли бессмысленное произведение?

Не нужно специально доказывать спорность старого противопоставления искусства философии. Если не уточнить, оно неверно и ложно. Можно лишь сказать, что оба явления обладают специфической атмосферой, это верно, но слишком приблизительно. Единственно приемлемая аргументация заключается в различии между философом, замкнутым внутри своей системы, и художником, расположенным перед своим творением. Но это относится к таким формам искусства и философии, которые мы считаем вторичными. Идея творчества, отделенного от своего творца, не только вышла из моды. Она и ложна. Говорят, что в отличие от художника философ никогда не создает множества систем. Но это верно лишь для того случая, когда художник выражает одну тему в разных формах. Постоянное совершенствование искусства, необходимость его обновления — это предрас-

судок. Произведение — тоже построена и каждый знает, какими однообразными могут быть большие художники. Художник так же, как мыслитель, заключает себя и становится собой в своем творении. Эта дилемма намекает на важнейшую эстетическую проблему. К тому же ничто так не бесплодно для того, кто создает единство цели и духа, как размышлять о различных в методах и объектах. Нет границ между предметами, которыми человек пользуется, чтобы понимать и любить. Они взаимно проникают и их единит та же тревога. Это необходимо отметить в начале. Для человека, не способного к бессмысленному творчеству, необходима мысль в самой яркой форме. Но в то же время нужно, чтобы не было видно, как рассуждение определяет строй произведения. Этот парадокс объясняется бессмысленностью. Произведение рождается из отказа рассуждать, обращения к конкретному. Оно означает триаду плоти. Произведения порождает ясная мысль, но тем же актом она отрицается. Намерение придать описанию более глубокий смысл не зависит от мысли, так как мысль знает, что это не логично. Произведение выражает трагедию рассуждения, но доказывает это лишь косвенно. Бессмысленное творчество требует художника, сознающего свои пределы, и искусство, в котором конкретное только конкретно, оно не может быть ни концом, ни смыслом, ни утешением жизни. Творить, не творить — это ничего не меняет. Бессмысленный художник не дерзнет за свое творчество. Он может отказаться от него, и иногда отказывается. Достаточно ему и Абиссинии.

Здесь можно увидеть и эстетическое правило. Настоящее произведение искусства всегда на мере человека. Оно как раз то, что говорит "меньше". Есть некоторое соотношение между общим опытом художника и его отражением — произведением, между Вильгельмом Майстером и зрелостью Гете. Это соотношение дурно, когда произведение хочет дать весь опыт в бумажных аппликациях, объясняющей литературы. Оно хорошо, когда произведение — только вывеченный из опыта кусочек, кристалл алмаза, в котором внутренний блеск сияет безгранично. В первом случае есть перегрузка и претензия на вечность. Во втором — <sup>плодотворное</sup> произведение, благодаря всему познаваемому опыту, о богатстве которого можно догадываться. Для бессмысленного художника задача в том, чтобы научить-

ся жить лучше, чем творить. Таким образом, большой художник в этой атмосфере — это большой шивер, имея в виду, что жить надо здесь столько же, сколько испытывать и размышлять. Так творчество несет с собой интеллектуальную драму. Бессмысленное творчество иллюстрирует отказ мысли от своих возможностей и ее отречение, в котором она упирается до рассудительности, оперирующей видимостьми и покрывающая образами то, в чем нет смысла. Если бы мир был ясным, искусства бы не было.

Я не говорю здесь о формальном искусстве или о красках, где царствует описание во всей своей сияющей скромности. <sup>1/</sup> Выражение начинается там, где кончается мысль. Подростки с пустыми глазами, наполняющие замки и музеи, выражают свою философию в жестах. Для бессмысленного человека она поучительнее всех библиотек. То же самое можно сказать и о соответствующей музыке. Если какое-нибудь искусство и лишено получения, так именно уж это. Более всего оно напоминает математику, с той разницей, что не обладает ее бескористием. Эта игра духа с самим собой по удобным и ограниченным законам разворачивается в звучащем пространстве — в нашем пространстве, вне которого, однако, эти колебания соединяются во вне-человеческую вселенную. Нет более чистого ощущения. Эти примеры слишком логичны. Бессмысленный человек признает своими эти гармонии и эти формы. Но я хотел говорить здесь о творчестве, где намерение объяснить остается самым значительным, где иллюзия предложена себе самой, где заключение почти выводится. Я хочу сказать о романе. Вопрос в том, может ли абсурд дать роман.

Думать — значит прежде всего хотеть создавать миры (или ограничить свой мир, что также случается). Это значит исходить из коренного расхождения, отделяющего человека от переживаний, чтобы найти почву согласия с требованием тоски, мир, затянутый в корсет рассуждений или освещенный аналогиями, позволяющими разрешить невыносимое противоречие. Философ, да-

<sup>1/</sup> Любопытно отметить, что самая интеллектуальная живопись, стремящаяся свести реальность к ее основным элементам, стала в конечном счете простой радостью для глаза. Она сохранила от мира только цвет.



не если это Кант, — творец (художник). У него есть свои персонажи, свои символы и свое скрытое действие. Есть у него и свои затруднения. Наоборот, наступление романа на поэзию и эссе означает, вопреки видимости, только возросшую интеллектуализацию искусства. Условимся, речь идет повсюду о самом крупном. Плодотворность и величие жанра часто измеряются тающей в нем раковинной. Число плохих романов не должно позволить забыть о величии лучших. Они действительно несут в себе свои миры. У романа есть своя логика, свои рассуждения, своя интуиция и свои постулаты. У него есть и свои требования света.<sup>1/</sup>

Классическое противопоставление, о котором я выше говорил, еще менее закономерно именно в этом случае. Оно имело смысл во времена, когда отделить философию от автора было легко. Теперь, когда мысль больше не претендует на универсальность, когда лучшая часть ее истории была историей ее смирения, мы знаем, что стоящая система неотделима от ее автора. Сама "Этика" под известным углом представляется длинным и строгим признанием. Наконец-то абстрактная мысль соединяется со своей телесной основой. Но и романтические игры тела и страстей понемногу упорядочиваются, больше следуя требованиям мирового зрения. Уже не рассказывают истории: теперь создают мир. Большие романисты — романисты-философы, то есть они противопоставлены проблемным писателям. Таковы Бальзак, Санд, Меланья, Стендаль, Достоевский, Пруст, Малро, Кафка и другие.

Но именно то, что они избрали образную систему вместо логической, открывает обман всем им мысль, сознанию бесполезность лобового приירה объяснения и усвоенную в воучительной пранности ослепляющей видимости. Они рассматривают творчество как начало и как конец одновременно. Оно есть завершение

---

<sup>1/</sup> Над этим стоит подумать: становится понятным существование наилучших романов. Почти все думают, что способны мыслить и в некоторой мере — хорошо мы, плохо мы, мыслят. Мало кто, напротив, может вообразить себя поэтом или стилистом. Но с того момента, как мысль возобладала или — над стилем, толпа заквасила роман. Но это не такое уж большое зло. Лучшим придется требовательно отнестись к себе. Слабейший не заслуживает спасения.

(философия, часто не выраженной, ее иллюстрация и ее волея. Но оно обретает полноту лишь через подразумеваемую философию. Наконец, она узаконивает вариант старинной темы, согласно которой немного иллюзия удаляет от жизни, а много — возвращает жизнь. Неспособная подняться над реальностью мысль останавливается на подражании ей. Роман этого рода есть инструмент подобного познания, одновременно относительного и бесконечного, очень похожего на познание любви. Романтическое творчество получает от любви начальное очарование и плодотворное переживание воспоминаний.

Таково обаяние, которое я признаю за ним вначале. Но я признаю его и за принципами универсальной философии, в которых я смог увидеть в конечном счете самоубийца. Меня интересует, главным образом, познание и описание силы, приводящей нас на обиходный путь иллюзий. Итак, я буду пользоваться здесь этим опытом. Так как я его уже использовал, я смогу сократить свое размышление и быстро свести его к точному примеру. Я хочу знать, возможно ли, приняв жизнь без призвания, можно работать и творить без призвания, и каков путь, ведущий к этим свободам. Я хочу освободить мир от его призраков и наполнить его достоверностями плоти, присутствия которых я не могу отрицать. Я могу создавать бессмысленные творения, из разных возможностей выбрав творчество. Но абсурдное поведение, чтобы оставаться таковым, должно оставаться сознательным относительно своего бессюристия. То же можно сказать и о творчестве. Если поведения бессмысленности не уважаются, если она не иллюстрирует расхождение и возмущения, если она принесена в жертву иллюзиям и возрождает надежду, она уже не бессюристка. Я уже не могу отделить себя от нее. Моя жизнь может найти в этом смысл: в этих призраках. Она уже не представляет опыта отрыва и отстранения страсти, которые служат блеску и бесплодности жизни человека.

В творчестве, где попытка объяснить вырвана сильнее всего, возможно ли преодолеть эту попытку? В фиктивном мире, где сознание реального мира сильнее всего, могу ли я остаться верным бессюристия, поморившись валаньем сделать выводы? Вот вопросы, которые надо рассмотреть в последнем усилие. Что они означают, уже известно. Это последние заботы сознания, которое боится погнать свое первое и единствен-

ное знание ради единственной иллюзии. То, что годится для творчества, рассматриваемое как одно из возможных поведений для человека, сознающего бессмысленность, годится для всех ступеней жизни, открытых ему. Борец или актер, творец или Дон-Жуан могут забыть, что их опыт жизни не может осуществиться без сознания его бессмысленного характера. К этому привыкают очень быстро. Хотят зарабатывать деньги, чтобы жить счастливо, и все усилия, и все время жизни сосредотачиваются на добывании этих денег. Счастье забыто, средства приняты за цель. Точно также все усилия борца склоняются к честолюбию, которое окажется лишь дорогой к более значительной жизни. Со своей стороны, Дон-Жуан приходит к примирению со своей судьбой, удовлетворяется существованием, величие которого зависит целиком от возмущения. Для одного это — сознание, для другого — протест, в обоих случаях бессмысленность исчезает. В сердце человека так много упрямой надежды. Люди, наиболее лишённые кожи, кончают иногда примирением с иллюзией. Это принятие, вызванное потребностью в покое, — внутренний брат экзистенциального примирения. Так появляются светлые божества и глиняные идолы. Не только средний путь ведет к человеческому образу мира, и его предстоит отыскать.

До сих пор лучше всего существо бессмысленного принципа нам обнаруживали его провалы. Таким же образом нам достаточно будет заметить, что романтическое творчество может дать ту же остроту, что и некоторые философии. Это позволяет избрать для иллюстрации то творчество, в котором собрано все, что отмечено сознанием бессмысленности, начало которой — в ясности, а атмосфера — пронизательность. Его следствия дадут нам хороший урок. Если там не почитается бессмысленность, мы увидим, какой уловкой сюда привлечена надежда. Точного примера, темы, преданности творца будет достаточно. Речь идет о том же анализе, который был проделан прежде.

Я рассмотрю излюбленную тему Достоевского. Я мог изучить, конечно, другие творения. Но у Достоевского вопрос поставлен прямо, в смысле значительности и страстности, как и в экзистенциальных философиях, рассмотренных выше. Эта параллель служит моему разбору.



## КИРИЛЛОВ

Все герои Достоевского задаются вопросом о смысле жизни. В этом они современны. Они не боятся смелого. Современное мироощущение отличается от классического вниманием к моральным проблемам, тогда как в прошлом центральными были проблемы философские. В романах Достоевского вопрос поставлен с такой силой, что может вызвать лишь крайние решения, обманчиво существование или оноечно? Если бы Достоевский удовлетворился бы этим, он был бы философом. Но он иллюстрирует последствия, которые эти игры духа могут иметь в жизни человека, и в этом он художник. Среди последствий его привлекает последнее, то, которое он сам в "дневнике писателя" называет логическим самоубийством. В записях 1876 года он приводит размышление, приводящее к "логическому самоубийству". Считая человеческую жизнь совершенно бессмысленной для неверующего в бессмертие, отчаявшийся приходит к следующим выводам: "Главный вопрос, который поведается во всех частях — тот самый, которым я научился сознательно и бессознательно всю мою жизнь — существование божие".

"Раз уже на мои вопросы о счастье мне сказано через мое сознание, что я могу быть счастливым только в гармонии с великим идеалом, чего я не принимаю и никогда не смог бы принять, стало быть..."

"Раз уже в конце концов при таком положении вещей я оказываюсь сразу истцом и ответчиком, и раз я считаю совершенно глухой эту игру природы, и раз я считаю унизительным для себя играть в нее".

"В моем беспорочном качестве истца и ответчика, судьи и осужденного и проклинаю эту природу, которая с таким наглým бесстыдством заставляла меня родиться, чтобы страдать — я приговариваю ее к смерти вместе со мной".

В некотором смысле он мстит сам за себя. Это способ, который остается у него, чтобы доказать, что "его не получают". Известно также, что эта тема выражена с большой глубиной в Кириллове, персонаже "Бесов", также стороннике логического самоубийства. Ивоненер Кириллов где-то заявляет, что хочет лишиться себя жизни, потому что это "его идея". Ясно видно, что это слово нужно понимать в его прямом смысле. Он готовит-

умереть ради идеи, ради мысли. Это — высшее самоубийство. Постепенно на протяжении сцен, в которых маска Кириллова проявляется, нам открывается смертоносная мысль, одушевляющая его. Инженер продолжает размышление из "дневника". Он чувствует, что бог необходим, и что хорошо, если бы он существовал. Но он знает, что бога нет и он не может существовать. "Как ты не понимаешь, — восклицает он, — что в этом достаточный вывод для смерти?" Эта позиция вызывает у него впоследствии несколько абсурдных последствий. Он соглашается из безразличия позволить его самоубийство использовать для дела, которое он презирает. "Я определял в эту ночь, что мне все равно". Наконец он готовит свой поступок со смешанным чувством протеста и свободы. "Я убиваю себя, чтобы показать непокорность и новую странную свободу мою". Речь идет не об отмщении, но о протесте, значит — Кириллов персонаж бессмысленности, с тем, однако, исключением, что он убивает себя. Но он сам так объясняет это противоречие, что обнаруживает скрытую бессмысленность во всей ее чистоте. Он добавляет к своей смертельной логике необычное притязание, даже персонажу всю его перспективу: он хочет убить себя, чтобы стать богом.

Рассуждение классически ясное. Если бог не существует, то бог — Кириллов. Если бог не существует, Кириллов должен себя убить, чтобы стать богом. Эта логика абсурдна, но она — и нужна. Задача, однако, в том, чтобы осмыслить эту божественность, низведенную на Землю. Это позволяет осветить предпосылку: если бог не существует, то я бог. Важно заметить прежде, что человек, обнаруживающий эту бессмысленную претензию, — целиком от мира сего. Каждое утро он занимается гимнастикой, чтобы укрепить здоровье. Его трогает радость Пилова, помирившегося с женой. На бумаге, которую найдут после его смерти, он хочет нарисовать року, показывающую "ни" язык. Он инфантилен и гневен, страстен, методичен и чувствителен. От сверхчеловека у него только его логика и навязчивая идея, вся же гамма чувств — человеческая. И однако он спокойно говорит о своей божественности. Он не безумен, иначе безумен был бы Достоевский. Его будоражит вовсе не малая величия. И брать слово в его прямом величии и смысле было бы здесь смешным.

Сам Кириллов помогает нам лучше понимать. На вопрос Ставрогина он отвечает, что не говорит о Боге-человеке. Можно подумать, что он старается походить на Христа. Но в действительности дело в том, чтобы упразднить Христа. В самом деле, Кириллов представляет на миг, что после смерти Христос не попадает в рай. Тогда Он понял, что Его страдания были бесполезны. Законы природы, — говорит инженер, — заставили и Его (Христа) жить среди лжи и умереть за ложь. Только в этом смысле Иисус воплощает всю человеческую трагедию. Он — Совершенный Человек, но именно Он прожил самую бессмысленную ситуацию. Он не Богочеловек, но человекобог. И как и он, каждый из нас может быть распят и обманут, — в некоторой мере это так и происходит.

Божественность у Кириллова целиком земная. Я три года искал атрибут божества моего, — говорит Кириллов, — и нашел: атрибут божества моего — своеволие! Теперь смысл формулы Кириллова становится понятным: "Если Бог не существует, то бог — это я". Стать богом — значит всего лишь стать свободным на этой земле, не служить бессмертному существу. И конечно же, прежде всего это значит получить все последствия этой горькой независимости. Если Бог существует, все зависит от Него и мы ничего не можем против Его воли. Если его нет, все зависит от нас. Для Кириллова, как и для Ницше, убить Бога значит стать богом самому, то есть реализовать на земле вечную жизнь, о которой говорит Евангелие.

Но если этого философского преступления достаточно для завершения человека, зачем добавлять к нему самоубийство? Зачем убивать себя, покидать этот мир, завоевав свободу? Это противоречиво. Кириллов знает это хорошо: "Если ты чувствуешь это, ты — царь, и даже не думая о самоубийстве, ты будешь жить на вершине славы". "Но люди этого не знают. Они не чувствуют это". "Как во времена Прометея, они питают в себе слепые надежды. Им нужно, чтобы мы находили путь, они не могут обойтись без проповеди!" Таким образом, Кириллов должен убить себя из любви к человечеству. Он должен показать своим братьям царственный и трудный путь, на котором он будет первым. Это — педагогическое самоубийство. Кириллов, таким образом, приносит себя в жертву. Но если он и распят, он не будет обманут. Он остается человекобогом, зная, что



его ждет смерть без будущего и испытывает евангельскую меланхолию. "Я, — возорит он, — несчастен, потому что обязан утверждать мою свободу". Но когда он умрет, люди презрент, и земля наполнится царями, озарится славой человеческой. Выстрел Кириллова станет сигналом наименьшей революции. Таким образом, его толкает на смерть не отчаяние, а любовь к будущему ради него самого. Прежде чем завершить в крови это показательное внутреннее движение, Кириллов произносит слова, древние как человеческое страдание: "Все хорошо".

Эта тема самоубийства у Достоевского — безусловно тема бессильности. Отметим только, прежде чем идти дальше, что Кириллов возникает в других персонажах, которые несут в себе конне темы бессмысленности. Ставрогин и Иван Карамазов в практической жизни осуществляют истинную бессмысленность. Смерть Кириллова освободит их. Они пытаются быть царями. Ставрогин ведет "ироническую" жизнь, такую — это хорошо известно. Он заставляет ненависть возникать вокруг себя. И однако "слово-ключ" этого персонажа находится в его прощальном письме: "Я не мог ничего презирать". Он — царь безразличия. Иван тоже таков, когда отказывается смиричь царственную силу духа. Тем, кто как его брат, доказывает своей жизнью, что нужно унижить себя до вери, он ответит бы, что такое поведение недостойно. Его слово-ключ — "все дозволено" с характерным оттенком грусти. Конечно, как и Ницше, самый знаменитый убийца Бога, он кончает безумием. Но это оправданный риск и перед этими трагическими концами существенно движение духа бессмысленности, который говорит: "Ну и что из этого?"

Так романы, как и "дневник" ставят вопрос о бессмысленности. Они воспроизводят логику вплоть до смерти, возмущения, "ужасную" свободу, царскую славу, ставшую человеческой. Все хорошо, все дозволено и ничто не презримо: это бессмысленные суждения. Но таковое чудесное творчество, в котором все эти сужества, то огненные, то ледяные, кажутся нам такими понятными! Страстный мир безразличия, хлопочущий в их сердцах, ни в чем не кажется нам чудовищным. Им находим в нем наши повседневные тревоги. И конечно, никто не мог бы дать бессмысленному миру такие узнаваемые и мучи-

тельные очертания, как Достоевский.

Каков же его вывод? Две цитаты покажут поближе философское превращение, ведущее писателя к другим открытиям. Рассуждение логического самоубийцы вызвало несколько протестов в критике, и Достоевский в "дневнике" так отвечает на них: "Если вера в бессмертие столь необходима человеческому существу (что без нее он приходит к самоубийству), значит она — нормальное состояние человечества. А раз это так, бессмертные души человека безусловно существуют". С другой стороны, в последних страницах своего последнего романа, в конце этой гигантской битвы с богом, дети спрашивают Алешу: Карамазов! Неужели и вправду религия говорит, что мы все встанем из мертвых и оживем, и увидим опять друг друга? А Алеша отвечает: "Неприменно восстанем и весело расскажем друг другу все, что было".

Так Кириллов, Ставрогин и Иван побеждены. Карамазовыми отвечает он на "Бесов". И это, конечно, заключение. Случай Алешин не заострен как случай Минкина. Минкин болен, он живет непрерывно в настоящем, пересыпанном улыбками и безразличием, и это счастливое состояние может быть вечной жизнью, о которой говорит князь. Напротив, Алеша ясно говорит: "Мы встретимся". Нет больше вопроса самоубийства и безумия. Зачем это тому, кто уверен в бессмертии и его радостях? Человек меняет свою божественность на счастье.

"Мы радостно расскажем друг другу обо всем что было".

Так пистолет Кириллова выстрелил где-то в России, но мир продолжает катить свои слепые надежды. Люди не поняли "это". Итак, с нами говорит не бессмысленный романист, а экзистенциалистский. Здесь прирек волнуется, придает величие искусству, вдохновленному им. Это трогательное приятие, непонимание сомнениями, неопределенное и горячее. Говоря о "Карамазовых", Достоевский писал: "Главный вопрос, который будет прославлен в обеих частях книги, был сознательным и бессознательным страданием всей моей жизни: "существование бога". Трудно поверить, что одного романа хватило, чтобы превратить в радостную уверенность создание целой жизни. Комментатор справедливо замечает: "У Достоевского душа отчасти связана с Иваном — и утвердительные главы "Карамазовых" потребовали от него трех месяцев усилий, тогда как то,

что он называл "богосхульством", было сочинено за три недели. Три недели в экстазе. Он не из тех персонажей, которые берут занозы в плоти, которые не идут от нее лечения в окупении или имморализме.<sup>1/</sup> Останемся во всяком случае на этом сомнении. Вот творчество, в котором контраст света и тьмы, более захватывающий, чем свет дня, дает нам увидеть борьбу человека против его надежд. Придя к завершению, автор выбирает позицию, противоположную своим персонажам. Это противоречие позволяет нам уничтожить вывод. Речь идет не о бессмысленности творчества, а о творчестве, ставящем проблему бессмысленности.

Ответ Достоевского: смирение, "стыд", по словам Ставрогина. Бессмысленное творчество, напротив, не содержит ответа, вот и вся разница. Подчеркнем это в заключение: в этом творчестве противоречит бессмысленности не его христианский характер, но открытие перспективы будущей жизни. Можно быть христианином и бессмысленным. Есть христиане, не верующие в будущую жизнь. Так становится возможным уточнить одно направление анализа бессмысленности в художественном творчестве, которое уже предчувствовалось на предыдущих страницах. Оно приводит к вопросу о бессмысленности "Евангелия". Оно освещает эту идею, плодотворную на взлетах, заключения которой не мешают неверию. Напротив, автор "Бесов", хорошо знавший эти дороги, выбрал в конце совсем другой путь. Удивительный ответ творца своим персонажам, Достоевского — Кириллову может быть сформулирован так: существование обманчиво и оно лживо.

### ТВОРЧЕСТВО БЕЗ БУДУЩЕГО

Итак, я замечаю здесь, что надежда не может быть отброшена раз и навсегда, и что она может даже захватить тех, кто хотел бы от нее освободиться. Вот интерес, который я нахожу в творчестве, о котором шла речь до сих пор. Я мог бы, по крайней мере, по произведениям назвать несколько чистых бессмысленных творений.<sup>2/</sup> Но всему нужно начало. Предмет

<sup>1/</sup> Кид сделал наблюдение, что почти все герои Достоевского полигамны.

<sup>2/</sup> Например, "Моби Дик" Мелвилла.



этих изысканий — своеобразная верность. Церковь была так жестока к еретикам, потому что полагала, что нет худшего врага, чем заблудшее дитя. Но история гностической дерзости и стойкости манихейских ересей сделана больше для конструирования ортодоксальной догмы, чем все молитвы. Точно также обстоит дело и с бессмысленностью. Ее путь определяется при открытии дорог, ведущих от нее... На вершине бессмысленной логики в одной из позиций, определяемых ее, небезразлично отыскать надежду, введенную в одном из самых величественных ее образов. Это показывает, насколько трудна бессмысленная задача. Это показывает особенно необходимость существования. Искусству лучше всего служит отрицательная мысль. Ее темные и униженные проявления столь же необходимы интеллектуализму большого творчества, как черное — белому. Работать и творить "для ничего", лепить из глины, зная, что произведение не имеет будущего, увидеть, как в один прекрасный день оно погибнет, и сознавать, что по сути дела строить на века не имеет смысла. Эту твердую мудрость утверждает бессмысленное мышление. Открыто проводить обе эти задачи, отрицать с одной стороны и возбуждать — с другой — таков путь, открытый бессмысленному художнику. Он должен дать пустоте ее краски.

Это приводит к специфической концепции художественного творчества. Слишком часто творение художника рассматривается как цепь изолированных свидетельств. Здесь сменяется художник и литератор. Глубокая мысль находится в непрерывном становлении. Она сливается с жизненным опытом и уподобляется ему. Такое единственное творение человека усиливается в этих множествах сменяющихся образов — в произведениях. Одни дополняют другие, направляют или догоняют их, а то и противоречат друг другу. Воли творчество чем-то и завершается, это вовсе не победный крик ослепленного иллюзией художника: "Я все сказал", но смерть творца, завершающая его переживания и обеспечивающая его даровитость.

Это усилие, это сверхчеловеческое сознание не становится явными для читателя. В человеческом творчестве нет тайны, это чудо создает воля. Но все же настоящего творчества без секрета не бывает. Конечно, секрета творений может быть

всего лишь средней приближенной одной и той же мысли. Но можно иметь ввиду и другой тип творцов, использующих прием нарастания. Их произведения могут показаться не связанными между собой. В какой-то мере они противоречивы.

Но представленные в целом, они перекрывают свою закономерность. Так они получают свой окончательный смысл от смерти. Они наиболее явственно принимают свет жизни своего автора. В этот момент сиюта его творений становится лишь коллекцией поражений. Но если все эти поражения сохраняют равный резонанс, творец сумел повторить образ своей собственной ситуации, заставил звучать бесплодный секрет, который он открыл.

Усилие к возобладанию здесь значительно. Но человеческого разума может хватить и на куда большее...